

Эдуард
Гурвич

Роман
Граф Омана



Эдуард Гурвич

Роман графомана

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42625549
Роман графомана / Э. Гурвич : Человек; Москва; 2019
ISBN 978-5-906132-28-4

Аннотация

«Роман Графомана» – своеобразная псевдобιοграфия, построенная на откровенных размышлениях главного персонажа – сочинителя. Эмигрировав из России, он опубликовал два десятка романов и документальных повестей. К концу жизни пришел к выводу, что книги плохие. Критически переосмыслить его творчество, понять разницу между Писателем и Графоманом ему помогает еще один вымышленный персонаж – его альтер-эго. Каждую из глав предваряют рассуждения сына главного героя.

Содержание

Глава I	7
1	9
2	15
3	22
4	31
5	41
Глава II	56
1	58
2	65
3	74
4	80
5	91
6	96
7	101
Глава III	106
1	109
2	120
3	124
4	138
5	146
6	157
Глава IV	163
1	164

2	170
3	175
4	183
5	192
6	201
Конец ознакомительного фрагмента.	205

Эдуард Гурвич

Роман графомана

© Гурвич Э., 2019

© Оформление. Издательство «Человек», 2019

Автор благодарит Колина Туброна, Кэрис Гарднер и редактора Марину Смородинскую за дружескую помощь и ценные советы в подготовке книги к печати.

Особую благодарность автор приносит Онкологическому центру Лондонского университета (University College Hospital Macmillan Cancer Centre) в лице команды консультанта Марка Линча. Без психологической поддержки членов этой команды, включая доктора Апостолоса Константи-са, автор не смог бы осуществить свой замысел.

ОКСАНЕ

*Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, Гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.*

В начале ХХI века ученые Европы запустили Большой адронный коллайдер. Превращение материи в подобие протоплазмы сопровождалось выделением миллионов различных частиц и волн. Ловя их, физики пробовали разгадать замысел Бога при создании мира. И поймали-таки божественный Бозон Хиггса. В это самое время Марк Берковский ловил свой *бозон*, сочиняя «Роман Графомана». Из множества судеб сложился его образ. Никто из современников не дотягивал до главного героя и его возлюбленной. Потому пришлось сначала придумать им биографии, а потом подбирать под них литературные прототипы. Оба одержимы сочинительством. Действие «Романа Графомана» начинается в *Той Стране*; оттуда Марк эмигрировал в пятьдесят лет. За свою жизнь он успел издать два десятка книг, включая документальные повести и, конечно, романы. Иные отмечены литературными премиями. Автор с вдохновением описывал блудные помыслы. Они не оставляли его и на смертном одре. Но к концу жизни он осознал, что блуд – самая неинтересная тема для сочинения. Осмыслить жизненный путь сочинителю помогают комментарии сына, которые предваряют каждую из глав «Романа Графомана». Вместе они рисуют полифоническую картину времени.

Глава I

Вместо пролога

Осталась отцовская рукопись. Листая ее после его смерти, зачем-то вспомнил, как в один из наездов в Лондон из Москвы заявил ему: «Я тебя никогда не буду любить! Понимать – да, понимать буду! А любить нет!» Бешено ревновал к сводной сестре. А отец ничего не замечал. Хотел нас сдружить. Повесил фотографию у себя в Студии. Мы с сестрой в одинаковых пижамах. Мне, наверно, лет десять, а ей – шесть. Мы где-то в гостях в пригороде Лондона. А рядом повесил другую. Отцу исполнилось шестьдесят пять, значит мне – восемнадцать, сестре – четырнадцать! Все примерно одного роста. Стоим с ракетками на корте в Хэмстэде. Почему из нескольких тысяч фотографий в оставшихся альбомах именно эти две висели на стене в рамках? Наверное, потому что память отца – одно, а моя – совсем другое. Он был счастлив, когда мы были вдвоем. А я мучился вопросом – зачем ему дочь? Разве меня ему недостаточно? И не смягчали мою боль наши путешествия вдвоем в Испанию, на Мальту, во Францию... В этих поездках никакой сестры не полагалось. Были только он и я. Музей Прадо в Мадриде, Лувр – в Париже, гостиницы, пляжи, бассейны, теннисные корты. Он приучал меня к большой литературе,

театру, балету. Сестра, я знаю наверняка, никогда и никуда с ним не выезжала. И как я мог сказать, что никогда не буду любить его? Как мог не понимать, каких усилий ему стоила эмиграция. Он пытался осилить язык и не осилил, но сделал невозможное – стал востребованным преподавателем русской словесности. Хотел построить свой дом и не построил, но обзавелся в Лондоне таким окружением, какое у меня вряд ли будет. По его собственному признанию, он был плохим евреем, в синагогу не ходил, иврит не знал, но сделал нечто такое, что я ощутил себя не русским, а евреем, совершил обряд гиюра, читаю тору, бываю в синагоге, изучаю иврит... Да, он нарцисс, ему нравилось представлять себя добрым и рассудительным, красивым и респектабельным, щедрым и мудрым. Он с уважением отзывался о собратях по перу. Но, ухмыляясь, нередко поправлял себя – мол, люди нехорошие. Хотя, по-моему, для отца «...единственное важно – хорошо написана книга или плохо, а что до того, прохвост ли автор или добродетельный симпатяга, – то это совершенно не интересно». Набоковскую цитату он хотел поставить эпиграфом к «Роману Графомана». Но в последнем варианте рукописи зачеркнул и заменил пушкинской.

Месяц назад редактор отвергла первую главу. Спорить не стал. Теперь же приговор докторов выворачивал разум. Вышагивая по песчаному пляжу, размышлял вовсе не о конце. Медицина с таким диагнозом может затянуть агонию на десяток лет. Но сколько времени остается для активной творческой жизни? Как долго сможет, отыскав мысль, держать ее, играть с ней, точить, стирать, возвращать обновленной? Стероиды, инъекции, химия, облучение наверняка разрушат способность творить. Никто не знает, как возникает таинственное чувство художника. А как исчезает – знакомо каждому. Разум подводит творца к дверям, но может и увести. И не обязательно по причине болезни.

...Пляж рядом с гостиницей. Из окна номера на двенадцатом этаже видно, как с отливом крошечный треугольник мыса разрастается, превращаясь в золотистую полосу почти с километр. Отступающее море обнажает песчаное дно. Только здесь, в Фолкстоне. В отличие от сплошь усыпанного галькой побережья в одну сторону – к Хейстингсу, и в другую – к Дувру. Ступать босиком по влажному песку вдоль своих же следов в безлюдный утренний час – несказанное удовольствие. Шагая взад-вперед от гряды камней до затона с яхтами, катерами, рыбацкими шхунами, подумал о новом ро-

мане Англичанина ¹ «Ночь в огне». Почему-то автор поначалу отрицал, что импульсом сочинения стала продажа им собственного дома. Понятно, документалистикой нивелируется дар Писателя. Ну, а романы Набокова «Другие берега» и «Ада». Биографические факты мастер так зарывал, что не сразу раскопаешь. А толстовская повесть «Смерть Ивана Ильича». Симптомы взяты из истории болезни, которые пишут доктора. Художник подмечает мнительность обреченного, ночные бдения Ивана Ильича наедине с нарастающими болями. Никого не трогает его смертельный диагноз. Все озабочены безденежьем, грядущей свадьбой дочери, долгами. Жутковатые ощущения умирающего.

Шагая по пустынному пляжу, не заметил, как начался прилив. Песчаная полоса на глазах уходит под воду. Пора возвращаться в гостиницу. Безобразное здание портит приморский пейзаж. Десятиэтажная коробка-параллелепипед, надстроенная позже этажами-кубами для премьер-номеров. И такое среди построек прошлых веков, с крышами самых неожиданных конфигураций, башенками, соборами, церковными шпилями.

Виды из номера захватывали воображение. Короткие записи в дневнике. «25 июля. Марафон на Английском канале». И тут же вылезает картинка: в начавшихся сумер-

¹ Англичанин – Колин Туброн (Colin Thubron), современный английский писатель, автор коротких романов и книг о путешествиях. Критики считают их вершиной мастерства. Колин – член жюри премии Букера, с 2009 по 2017 годы избирался Президентом Королевского общества литераторов Великобритании.

ках вертолет не дальше километра от берега завис над пловцом из Франции, переплывшим канал. Желтый спасательный круг, привязанный к поясу, тянулся за ним и был виден с пирса, пока не стало темнеть. Утром местные газеты сообщали, что пловец, не добравшись до английского берега, потерял сознание. Его спасли. Еще запись: «30 июля. Свежие креветки». Луна висит над морем. Почти на самом горизонте морской маршрут между английским Дувром и французским Кале. Мерцающие огни паромов. Лучи прожекторов. Отлив начинается на рассвете и регулирует жизнь затона. Вода уходит, оставляя судна на дне. Беспомощные, жалкие, накренившиеся набок, поддерживаемые стропилами. В павильоны рынка Старого города, расположенные у самого затона, рыбаки свозят ночной улов. Креветки и крабы выставляют тут же на открытые прилавки. Чуть позже появляются первые покупатели. И попробуйте только открыть рот с вопросом: свежие ли? Получите ответ, где ни слова мата в виде брани, ни брани в форме мата, но сказанный таким тоном, который запомнится надолго. В самом затоне во время отлива можно прогуляться по песчаному дну между яхтами, рыбацкими суднами, прогулочными катерами. Ближе к вечеру вода поднимается и все оживает. Владельцы готовятся выйти в море. Затон хорошо виден из номера гостиницы. Правее виднеется пирс Харбор, главная часть бывшего морского порта. Время измочалило, истребило назначение пирса, некогда несшего на себе груз морских перевозок. Пирс

утратил свое назначение. Осталась нитка железнодорожной колеи и две платформы закрытой станции. Музей планирует реставрировать их и открыть для посетителей. Пока по пирсу можно пройтись, заглядывая в пабы и ресторанчики. На мысу, в нескольких сотнях метров от берега, над морем высится каменная башня маяка с надписью «Погода есть третье по важности после времени и места». В башне буфет с шампанским. Ресторанчики, киоски, кафе – все это лишь подчеркивает печальный конец истории такого мощного морского сооружения. А вот зарождающаяся жизнь под самым носом. Полтора месяца назад, в предыдущий приезд, чайка устроила гнездо на крыше надстройки под окном номера. Теперь тут разгуливает птенец в штанишках-пуховиках. Он ждет маму и требует еды. Хотя уже расправляет крылья, пробует подпрыгнуть, взлететь. Клюет и раскидывает все, что находит на площадке. Расправился с сухой травой, прутиками, всем, из чего состояло гнездо. Но это все, на что он пока способен. Слететь с двенадцатого этажа еще не может. Когда появляется мама, птенец смешно кланяется, пока взрослая птица не срыгивает то, что принесла в зобу. Забавно, что она тут же склевывает *срыганное*. Но кое-что достается и птенцу. Наверное, это входит в программу обучения – не зевать, действовать быстро при виде еды. Иногда в семье ссорятся. Почему, понять трудно. Как и то, как птенец обходится без воды. Можно часами наблюдать этих чаек, поражаясь мудрости природы. Утреннее солнце высвечива-

ет приморскую скалу. С верхнего этажа гостиницы она напоминает высунутый язык свифтовского Гулливера в стране лилипутов. На этой скале и стоит Фолкстон. Город, где чувствуется влияние Франции. Мощеная улочка под названием Old Street, вытянулась дугой вверх по направлению к центру. Ощущение, что вы на Монмартре. По обе стороны витрины картинных галерей, сувенирных магазинчиков, лавок, кафешек. В самом начале улочки из открытой двери галереи доносятся звуки фортепьяно. Чуть дальше – литературное кафе со стеллажами книг до потолка. Выше нетипичный для Англии французский магазинчик с сырами и винами. При выходе на площадь и центральную улицу завораживают детали городских построек прошлого века. Шпили замков, церквей, крыши домов опять же лучше рассматривать из номера. Все оттуда кажется игрушечным – и крутые съезды к морю, и колонны виадука железной дороги. В ночной темноте светятся скоростные поезда Лондон – Дувр. Еще выше шоссейная дорога. Она угадывается сигнальными пунктирами трейлеров и грузовиков с прицепными контейнерами для морских перевозок. Оторваться от видов невозможно. Сочинять не составляет труда. Компьютер не успевает за мыслью, пропуская буквы, а то и слова. Наплевать. Позже. Править – значит задуматься о пропасти, на краю которой стоит человек. Цивилизация обрекла его на выбор между великой культурой и сносной жизнью для большинства живущих. Интернет обострил поляризацию. Подобрать факты под свою версию,

что — *изм* полезен или вреден, ничего не стоит. Анализ — редкость. В последнюю очередь на него способны журналисты, политологи, социологи. Драма современного человека связана не только с информационно-технологическим обвалом. Человечество обречено прозревать через еще более глубокие кризисы, конфликты, войны, загоняя себя на самый край гибели. Нет повода обольщаться, что *умники* конца XX века, вооруженные компьютером и интернетом, сошлись в презрении к *дуракам*, оставшимся на обочине скоростных магистралей знаний. Франкфуртские мыслители 1960-х годов Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно подмечали, что «к числу преподанных эпохой Гитлера уроков относится урок о глупости умничанья. Обо всем осведомленные умники всегда и везде облегчали дело варварам...» А ведь те же уроки преподала эпоха Ленина — Сталина. Большевизм и фашизм — восстание выкидышей прогресса против его сложностей и заморочек. И какое победоносное восстание... Тут вдруг осознал собственные потуги к умничанью. Поздно.

Марк мучил меня, зачитывая только что написанное, виляя голосом, подправляя на ходу, советуясь. По природе своей я не унылый и не злой. Поначалу ухмылялся, терпел, а потом срывался:

– Лучше удавиться, чем выставлять такие пейзажи. Компьютеры, край пропасти, уроки большевизма, фашизма...

– Да я как будто больше тут о чувствах, впечатлениях, личном восприятии, – пробовал возразить Марк.

– Именно о себе, о своей убогой судьбе, – куражился я над ним. – Затон, загон, пирс, отживший свое... Умиление чайками! Сантименты, похожие на стенания моей соседки: ах, вы спиливаете старое, прогнившее дерево, а там гнезда птиц: что будет с птенцами!

Может, я не открывал бы рта и на этот раз, если бы накануне не попались мне сочинения нашего сотоварища по творчеству. Читаю и думаю: зачем же вы, бывшие физики, математики, электронщики, журналисты, издатели, документалисты, начитавшись писателей генерации Довлатова – Алешковского, талантливо описавших прошлое, тащите теперь свой хлам под видом высокой прозы.

– Эти ваши впечатления, описания природы, жизни «отказников» нестерпимы! Ностальгия, тоска по возлюбленному, а ля «светло-серый плащ на мне потемнел от дождя, во-

лосы слиплись и превратились в водостоки», «холодные губы касаются ее горячей щеки», «я крутил головой, высматривая расположенных к общению вакханок», «на безрыбье недосуг кочевряжиться, и я спросил, не хотите ли, девочки, завалиться к приятелю в гости», «идите сюда, несчастные, я всех вас обыму и *вы-бу*, и я обнял ее, горячую, податливую», «и мы пустились в вечно волнующий путь: ласки, поцелуи, объятия»... Встречи, девки, квартиры, трахнул – не трахнул... Все достоверно, автобиографично, все кажется вам молодо и ностальгично; гибко и пластично; грустно, как прощальная краса. А тут еще и читатели вас подбадривают: *ах, вкусно написано, третий раз читаю, а как будто впервые.*

– Каждый пишет, как он дышит, и каждый читает, как умеет, – морщился Марк.

Верно, конечно. Но речь-то о скрытности писателя как художественном приеме. Художник видит разницу между своей жизнью и судьбой героя. Он осмысляет время, фантазирует, придумывает, отбирает, прячется, камуфлирует. Графоман же или скриптоман (разделять их – пустое занятие) остается в рамках собственной биографии. Ну, описываешь ты барышню, которая любила тебя, а замуж вышла за другого. Чего канючить? Кому интересно, как ты *уломал*, как страдал, как расставался... Интересно, как эти продвинутые студентки шестидесятых-семидесятых годов, с их моралью, с их пониманием, что надо выбираться из *Той Страны* хоть

на *п...* *е*, через выездных возлюбленных, через иностранцев, превращали их из ухажеров в мужья, как они управлялись, когда убегали в заграницы, как сочетали любовь и свободу, долг и семью, и прочая, и прочая, и чем заканчивались такие компромиссы.

Разошелся я в своем возмущении еще и потому, что Марк поддался уговорам лететь в Москву ставить какие-то подписи в договоре о продаже квартиры. Я со стороны наблюдал, как он, уже тяжело больной, решился на такую поездку. Ведь это же риск – умереть и остаться на Химкинском кладбище, сыну быть призванным в армию. Оба могли потерять свободу распоряжаться собой.

– А теперь ты бормочешь про – *пишет-дышит...* Я видел, как ты оттягивал, терзался сомнениями, но не сказал сыну твердое *нет*. Полетел.

– С сыном ты зря, у нас сложился диалог с самого его рождения по нынешний день. Явный, скрытый, разгорающийся, затухающий. В книгах я в основном обращаюсь к нему.

– Прекрасно, наслаждайтесь своими диалогами, – сказал я. – Зачем в Москву ехать, не понимаю.

Последовало краткое молчание, после чего Марк понес то, что, на его взгляд, вполне годилось для сюжета романа. Иначе теперь он не говорил, не дышал, не думал. Все увиденное, услышанное, прочитанное, все тащил в прозу:

– У сына аргумент. Он спасает род деда Сала, подростком убежавшего из иудаизма, род древний, с мощными корнями

и традициями. Он восстанавливает оборванную связь. Что я! Высший суд раввинов обычно отговаривает от гиюра три раза, а его принимает с первого раза. Сын соблюдает шаббат, изучает Талмуд...

– И был готов рискнуть тобой и собой, чтобы не потерять какой-то миллион в рублях? Как все это объяснить и принять? А вдруг это искушение, которому можно не поддаться? Ты мне рассказывал, как с пристрастием допрашивал сына о нарушениях. Почему в *шаббат* можно спускать – но не рвать, нести что-то в доме, но не на улице, сидеть в ресторане, но не соблазнять этим других евреев... Ну, а передвинул предмет, потому что требовалось на это место сесть. Нескромным взглядом проводил женщину – и тут нет нарушения. Может быть, для режима *ограниченной демократии* религия потому и привлекательна, что разрешает нарушения правил, если их правильно объяснить.

Не слишком ли много у истинно верующих запретов, чтобы освободиться для действительного погружения в религию. Следовало ли выставлять тот наш разговор в «Романе Графомане»? Может быть, зря. Мало ли о чем мы спорим. С другой стороны, Марк тащил в свои сочинения все, что на слуху – библейские мифы, семейные предания, седые предрассудки. Теперь ему нужна Москва для последней главы. Я откровенно зевал, когда он пускался в ностальгические описания того, что помнил, насаживая на них то, что увидел. Впечатлениям Марка я не очень-то доверял. Его по-

рядочность, смешанная с сентиментальностью, наивность в рассуждениях о власти доказывали, что этот род сочинителей безнадежно глуп. Он писал, по выражению филолога Н.², как лысый петух, который украшает задницу, подбирая на птичьем дворе перья вороны и павлиньи, стружку, бумажки, тряпки и т. д. и из них сооружая себе хвост: что на ум пришло, то и сгодилось. Н. была невысокого мнения о прозе Марка. На его плоские возражения как-то верно подметила: *стихи, конечно, растут из сора, но сор – еще не стихи.*

За годы жизни каждый из нас, пишущих, наврал столько о себе, о своем прошлом, о своих любовных похождениях, что всего не упомянуть. Только к концу жизни нам нелишне задаться вопросом, что будет с опубликованным. А ведь вполне можно отречься от написанного. Все исчезнет, как следы, смываемые приливом на пляже, который представил тут Марк. Все поглотит время. Ничего не останется. Остановить мне его не удавалось. В последний год жизни он меня доставал каждую неделю. Сочинит, и тут же звонит. Вот еще его набросок.

...Вдруг ослеп на один глаз. Как это могло случиться? С чего бы такое? Наутро встал, зажмурил левый глаз и вдруг обнаружил: правый не видит. Сплошная черная стена. Не иначе, как наговор. Перед поездкой в Париж послал в интернет-журнал эссе. С критикой текстов психо-специалистов, заполонивших «Сноб». Одна из них в ответ: «Хотела сразу

² Филолог Н. – Наталья Белюшина, сценарист, филолог, автор ряда книг.

наслать на Вас порчу и наговорить гадостей, но одолела себя...» Колдунью из Питера поддержал бывший российский эскулап, перебравшийся в Неваду: «Это поистине королевский гнев. По сусалам его, по сусалам...» А она ему: «Сердечная благодарность...

и гардению в петличку из нашей королевской оранжереи...» А он ей что-то вроде: «Муррр...» В наговоры, порчу, проклятья, конечно, я не верил. Происшедшее списал на совпадение. Колдунью и эскулапа в своем эссе призвал подумать об их карме. А все ж записал в дневнике, как в то утро кинулся к рукописи. Пронзила мысль – не успел завершить! А ведь читаешь что-то незаконченное у крупного мастера прошлого и пробуешь представить, что за тайну унес с собой автор. И еще вылезла цитата Мариенгофа: «Ковыряюсь, канителюсь, потею над словом... Да, к сожалению, я не Достоевский, я не имею права писать плохо».

– Не имеешь права, а пишешь. Мало того, вставляешь в сюжет всякие муррр... мифы, предания, заблуждения, – заметил я с горькой усмешкой.

Но ведь можно понять автора. «Роман Графомана» был попыткой Марка объясниться с читателем, которого он морочил всю жизнь. Цепочка событий, люди, вещи, мысли с новым замыслом выпрыгивали из прошлого, из архива, из дневников пятидесятих годов, из писем сыну в восьмидесятые. В конце концов, автор «Романа Графомана» не я, а Марк. Пускай этот дурень остается со своими галлюцинаци-

ями и предубеждениями. Пускай пишет так, как у него отложилось в памяти то время. И нечего мне лезть со своей рассудительностью.

Мы познакомились на журфаке МГУ, когда Марк третий год подряд сдавал вступительные экзамены. Кто-то надумил его попросить рекомендательное письмо в деканат у секретаря Краснопресненского райкома комсомола, где он числился внештатным инструктором по пропаганде книг. Попросил. В письме указывалось, что абитуриент является инструктором райкома. Слово *внештатный* расчётливо упразднено. Решала все заключительная фраза: мол, просим учесть это обстоятельство при зачислении в студенты.

Стало быть, поступил, если не по прямой протекции, не по благу, но не совсем чисто, точно. Припоминая же эту *тайну*, оправдывал себя тем, что тогда никто не отменял гласную/негласную пятипроцентную квоту на евреев-абитуриентов. Точно так же, как и запрет на выдачу паспортов колхозникам. Паспорта колхозникам начнут выдавать с конца 1970-х годов, институт прописки отменят в 1990-х... Так что *блат не блат*, а принадлежность к партийно-комсомольскому аппарату *покрывала* унижительную квоту. Только и всего. Сыграло ли то письмо свою роль, теперь никто не скажет. Но зачисление состоялось. Уведомление о приеме послали на адрес райкома. С жалобой, что ваш *протееж* не ходит на занятия.

Теперь Марк ощутил потребность раскрыть все *тайны*.

Они тяготили. Иначе бы не вываливал их в «Романе Графомана». Вспоминал, как, сплетничая про себя или про кого-то, прибавлял: *никому не говори, это я только тебе могу сказать, прочую муру*. Всплыл в памяти головной книжный магазин на Пресне. Оформили продавцом, но за прилавком стоять было унижительно. Потому спускался на склад. Директор магазина, Борис Исаакович, возможно, сочувствовал амбициям сочинителя. Придумал, как уберечь парня от собственных махинаций. Оформил старшим продавцом, чтобы нигде своей подписи *принял-сдал* не оставлял. Для криминальных подписей у него был Николай Иванович. Через него и проходили все накладные документы. Магазин получал из издательств тиражи книг, не приходя ту часть, что шла *налево*. С таким же размахом подобное проделывали в отделе канцелярских товаров, которым заведовала Анна Григорьевна. И она тоже оберегала Марка от происходившего. Использовала только в качестве грузчика. С поступлением на подготовительные курсы в МГУ взялась оплачивать их.

Потом Марк ушел в райком комсомола. В магазин же приходил получать зарплату: здесь была ставка внештатного инструктора по пропаганде книги. Нарушение несуразных законов кончилось судебным процессом. В тюрьму сели все, включая директора, получавшего проценты от санкционированных им оприходований *левого товара*. Про аресты, судебные процессы, сроки, смерть директора Гинзбурга в тюремной камере, про все тайны Марк узнавал из третьих рук.

От той жизни он отскочил далеко. Остались в памяти детали – кожаный портфель, роговые очки, интеллигентность директора, его красавица-дочь. Она приходила в кабинет папы за книжными новинками. Райком комсомола. Книжный магазин. Суд. Зачисление на первый курс заочного отделения журфака МГУ – все уложилось в декабрь 1961-го – январь 1962-го. Первая зимняя сессия. Под нее положен оплачиваемый учебный отпуск. Из факультетской библиотеки не вылезали. Экзамены одолели с трудом. Мучила кафедра стилистики русского языка. В одной передовице «Правды» *спецы* находили с десятков стилистических и пунктуационных ошибок. И все спрашивали: куда смотрит штат корректоров газеты? Студентов журфака дрессировали на диктантах-сочинениях. Сдавших экзамены, перевели на вечернее отделение. Учеба разжигала честолюбие. Мечта о штатной работе в редакции стала реальностью.

Собственно, тогда, во время первой сессии в читальном зале факультетской библиотеки, мы и сошлись. Я, питерский, конечно, сразу увидел в москвиче затравленного еврея. Марк лип ко мне, уверовав, что я тоже еврей.

– Ну, как не еврей, – прижимал он меня. – Имя Максим, фамилия Колтун. Чистый еврей! Не темни.

Пришлось разубеждать. Моя семья совсем не антисемитская. Во многом потому, что корни моих предков – старообрядческие и с берегов Белого моря. Да и произношение фамилии – ударение на последний слог. Мои предки все свои

эмоции обратили не на евреев, а на «косматых попов – слуг антихриста» и московских церковников-ассимиляторов. Так что у меня нет явной или тщательно скрываемой от общественности и властей еврейской прабабушки. Тут другое. Мне было семь лет, когда семья переехала в город на Неве. И там я попал в довольно «престижную» и, как следствие, «еврейскую» школу. У нас в классе было русских и евреев, ну, где-то пятьдесят на пятьдесят. И в силу того, что большая часть русских была из «интеллигентных» семей, вместо раскола класса по этническому признаку у нас случилась консолидация. Так что я рос в еврейской среде. И мое мировоззрение формировалось на еврейской основе, к которой имели отношение мои одноклассники-евреи, их родственники, семьи. С ними я поддерживал связь всю жизнь. Даже теперь. Они живут там же, в городе на берегу Невы. А я перебрался на Запад. Так что никакой еврейской прабабушки в моем роду не было и нет.

Мое *еврейство* – дело десятое. Его же сын совершил обряд *гиора*. Думаю, правильно сделал. У него стояла проблема самоидентификации. Зачем ему, полукровке, жить в раздвоении. Хотя дело не в происхождении. Русский поэт Мандельштам по рождению – еврей, столкнулся с той же проблемой. Критики находят у него русские и еврейские мотивы. В биографической книге поэта «Шум времени» есть строки, заставляющие вздрагивать еврея. «Иудейский хаос», «русские скрипичные голоса в грязной еврейской клоаке», слова

молитвы, «составленные из незнакомых шумов», от которых стало «душно и страшно». С раннего детства будущий поэт пробовал сложить во что-то единое православие и иудаизм, русский язык, иврит, идиш. Что отразилось, очевидно, в характере. Окружающие испытывали неприязнь к нему. Ося никак не выглядел «хорошим человеком» в писательском общении, пишет Эмма Герштейн. Впрочем, ее мемуары многие исследователи литературы считают предвзятыми. Но Марк перетащил их из московской библиотеки в лондонскую.

– Ты думаешь, что поэта погубили стихи о Сталине. Но ведь он мог их не читать.

– Мог, наверное, – согласился Марк. – Думаю, Мандельштам оставался внутренне свободным. Даже когда попытался реализовать *заказ*, заданный самому себе, чтобы спастись. И заказ этот, то есть прославление Тирана, он исполнил в высшей степени талантливо. «Если б меня наши враги взяли», стихи, посвященные Сталину, написанные в феврале 1937-го, самой высокой пробы: *И налетит пламенных лет стая, / прошелестит спелой грозой Ленин, / И на земле, что избежит тленья, / Будет будить разум и жизнь Сталин.*... Мандельштам славословил, а все равно мыслил масштабами эпохи, времени. Сверхталантливые стихи! Ремеслом владеть, чтобы так писать, – мало. Я пару лет назад был на Канарах и включил в номере русское телевидение. Автор прокремлевской программы «Раша тудей» выполнял очевидный

заказ – достойно представить на телевидении образ современной России. Предвзятость, бред, ложь, бешеный напор, темперамент, всесокрушающая демагогия. Подумать нет ни секунды. Нырок в дремучие времена СССР конца 1940-х годов. Текст подкрепляют картинки. Сделано все человеком, вполне владеющим своим ремеслом. Но всюду торчат «кремлевские уши». А попробуй отыскать у Мандельштама эти *уши* в книжечке поэтических панегириков Сталину. «Ода» со строкой: «и в дружбе мудрых глаз найду для близнеца...» никак не менее талантливо, чем все остальное, мандельштамовское. Чуткие исследователи подметили, что обращения к Сталину предназначены не только для физического спасения, но и для спасения проекта всей жизни – его, иудея Мандельштама, русской речи. Мандельштам не отделяет Сталина от страны и народа. И он обращается к тирану самым интимным и доверительным образом. Конечно, это лесть, но и нечто большее, чем лесть. Поэт разговаривает с тираном чуть ли не как с единственным читателем, способным в России читать без оглядки. Хотел ли Сталин сохранить Пастернака, Ахматову, Заболоцкого? Или, если судить по их судьбам, он не все мог контролировать...

– Не мог, но контролировал, – парировал я. – Есть множество версий по поводу кремлевских звонков вождя Пастернаку и Булгакову. Одна из них – тиран был графоманом. Удовлетворяя авторское эго, амбиции, спешил немедленно обнародовать свои предварительные, фрагментарные,

не вполне устоявшиеся соображения, когда чувствовал, что наткнулся на нечто важное и не хотел ни на минуту оставлять мир в неведении. Отмеченное в вожде критиком Борисом Гройсом «нетерпение поделиться» роднит Сталина с поэтическим темпераментом Мандельштама. Понимал ли Мандельштам, что играет с огнем? Понимал, вероятно. Но жажда выразить то, что лезло из него, перевешивала страх. Никакого самоконтроля, который не покидал Пастернака, Ахматову. Они играли, но знали меру. Мандельштам не знал меры.

– Не знал, Макс. Согласен. Но ко всему Поэт явно был не чужд политических амбиций. Ему хотелось *влиять на ход событий*. В юности увлекался революционным движением. Мечтал стать бомбистом. В начале тридцатых «официально» находился под покровительством Бухарина, дружил с его женой. Он в курсе политических интриг того времени. Они сводились к устранению Сталина от руководства страной на XVII съезде партии. У Сталина была серьезная оппозиция и в Политбюро, и вне его (Бухарин был на очень важном посту главреда «Правды», но отстранен от высшего руководства и мечтал опять порулить). И Мандельштам выступил на стороне этой оппозиции. Потому, написав «Мы живем, под собою...», хотел непременно прочесть стихи даже тем, кто предпочел бы уклониться от этой доверительности. В те дни он словно опьянел, шатался по Москве с готовностью читать их всякому... Об этом с осуждением пишет Эмма Герштейн.

Заигрался поэт именно в силу того, что в нем жил дух революционной авантюры.

Тот наш первый диалог запомнился мне не взаимным *умничаньем*, а совсем по другой причине. Марк продолжал настаивать, что я скрываю свое еврейство. В ответ я изложил свою *теорию* российского антисемитизма, которой, кажется, произвел впечатление на Марка. По моим наблюдениям, чистый антисемит в русской элите редкость. Как правило, он предстает в одном лице и юдофобом, и юдофилом. Наш питерский композитор Олег Каравайчук написал музыку для более чем полутора сотен фильмов. Но до самой смерти его затирали. В последнем интервью он явился публике в маске юродивого, скомороха. Так он несколько десятилетий кряду защищал себя от власти, от дураков, от окружения. Начал с панегирика: «Иврит – это высший язык на земле, он отражает психологию самой высочайшей, самой гениальной нации. У иврита врожденная осанка. Он трагически стоит». Впечатляет в том интервью рассказ композитора об отношениях с великими евреями. Дружил с Михоэлсом, который, якобы, утверждал, что идиш погубит искусство. А вот иврит – это гений. Красивее иврита ничего нет. Иврит очень повлиял на мое искусство, утверждал Каравайчук, хотя я сам не еврей. Я вырос на иврите... И тут же обрушивается на евреев, которые вообще, по его мнению, к сожалению, дали самые примитивные способы центрального познания человека. Они, мол, ищут какой-то центр и показывают через этот

центр всё. И вот из-за этого они довели патологию психопатии до крайнего размера. Потом снова: «Без евреев цивилизации не было бы. Потому что не было бы этого кода преемственности. Я же не могу создать преемственность. А вот если есть у меня друг-еврей – гениальный еврей! – он как-то меня поймет и передаст. Поэтому молитесь за евреев». Закончил композитор панегириком под Пушкина – черт меня дернул в России родиться с душой и талантом. Тебя здесь никто не защитит.

Каравайчук подтолкнул меня к мысли о сокрытии в творчестве, которым не может пренебречь не только писатель, но и всякий серьезный Художник. Каравайчук напомнил также, что подводить итоги жизни надо вовремя. Но когда – каждый решает сам. И такое решение может быть связано во все не из-за предчувствия конца. Эзотерика здесь не поможет. Марку, как я понимаю, надо было разделаться со своим прежним творчеством. Вот он и решил написать «Роман Графомана». А уж что за чем выставять – не так важно. Думаю, Марк правильно рассудил, решившись дать при изложении место и *хаотике*, и импровизации, и интуиции. Пускай читатель разбирается, где правда, где ложь; пускай додумывает не проясненное, оставив в стороне предрассудки, правила изложения, представления о том, что за чем должно следовать.

Личная библиотека – единственное, о чем мы с Марком жалели, когда эмигрировали. Но и тут вранья хватит на десяток воспоминаний. Как и в ответе на вопрос – когда он начал читать, когда пришла мысль стать писателем. Разумеется, в младенчестве или в раннем детстве. Так что не надо так уж кривиться, когда Марк вспоминает, что благоговение к книге ему внушила соседка, восемнадцатилетняя Мирдза, дочь латышского стрелка, отправленного в ГУЛАГ, и коммунистки Минны Яновны. Она жила через стенку, уже работала секретаршей в Министерстве геологии и вместе с матерью выписывала пятидесятитомную энциклопедию. В школу Марк еще не пошел, читать не научился, а уже влюбился в Мирдзу. Проходу ей не давал, сторожил в коридоре. И был счастлив, когда она звала его посмотреть очередной том Большой Советской Энциклопедии. Издавать энциклопедию начали в 1926 году, а завершали в 1947-м. Издание, прославляющее режим, редактировал академик Отто Юльевич Шмидт, тоже латыш. Собственно, потому Поднеки и выписывали БСЭ. Недешевое удовольствие, доступное далеко не всем. Тома в ледериновом переплете с золотым теснением, с цветными вкладками фотографий вождей революции, переложенными тончайшей папиросной бумагой, завораживали запахами.

Марк рассказывал, как часами листал с Мирдзой энциклопедию, как учился читать. И 1 сентября 1947 года, когда пошел в школу, читал бегло. Ранним утром вместе с Мирдзой он срезал в ее палисаднике алые георгины. Таких в бараке на окраине Москвы, где семья Марка жила, вернувшись из эвакуации после войны, не было ни у кого. Клубни георгин Поднеки привозили из-за *границы*, то есть из советской Риги. Завернутые во влажную ветошь, их берегли от морозов, а весной высаживали под окном. Остальные обитатели барака хранили семена и выращивали редиску, которую возили продавать на Тишинский рынок. Только у Поднеков росли георгины. Мать Мирдзы, Минна Яновна, дрожащими губами произносила: «Им цветы не нужны, им редиска нужна». Им, но не нам, вспоминал Марк, и еще теснее прижимался к Мирдзе. И это, мол, был один из первых сигналов самосознания – мы с Мирдзой не как все. Вылезла его метафора – школе нес в подарок не пучок редиски, а огромный букет георгин. Хотя школа того не стоила. Опять-таки утро 1-го сентября было, конечно, прохладное, а он шел в коротких штанах на бретельках и в куртке, которые сшила мать. Согревало тепло Мирдзиной ладошки. Шел с портфелем, а Мирдза несла букет. Запомнился страх, когда вошли в ворота школьного двора. Он гудел, конечно, как *улей*. Куда ж без расхожей метафоры. Мирдза протянула Марку букет, учительница ухватила его за рукав и отвела в строй первоклассников. Поискал глазами Мирдзу. Не нашел. От обиды чуть

не плакал, но выйти из строя не решился. Букет в одной руке, портфель в другой. Один. Без всякой защиты. На целых семь лет. Когда прозвенел первый звонок, первоклассников повели к дверям школы...

Время искажает прошлое. Конечно, Мирдза привила любовь к книге. Но, по правде говоря, БСЭ было скучное издание, малопригодное для чтения не только в дошкольном возрасте. Щеголять прочтением той энциклопедии столь же уместно, сколько чваниться, что сын учил алфавит по корешкам трудов Зигмунда Фрейда в девяностые, и, мол, потому увлекся психоанализом. Или воображать, будто сестру, проработавшую полвека библиографом в Книжном мире, близость к книге должна была сделать книгочеем. Тем не менее с получением зарплаты Марк стал покупать книги. Только библиотека его составлялась благодаря блату, а вовсе не следуя читательскому вкусу. Хорошие книги тогда не покупали, их *доставали*. Сначала он ходил в знаменитый книжный магазин под номером 46 на углу Пушкинской и Художественного проезда. Потом в Книжный мир на Кировской, а позже в Дом книги на Арбате. Дефицитные подписки, за которыми стояли ночи напролет, Марк получал *по благу* в магазине Подписные издания на Кузнецком Мосту. А в антикварных магазинах *по высокому благу* ему откладывали редкие издания. Вся зарплата уходила на *булгаковых-ахматовых-пастернаков-мандельштамов*. Что было одной из причин хронического безденежья. А если точнее,

жизни впроголодь. Личная библиотека входила тогда в реестр престижей. Но одновременно рассматривалась и как состояние, которое можно завещать. С крушением Автократии дефицит на книги исчез.

По сути и по чести, теперь только сдуру можно выставиться, что у Куна мы знакомились с мифами Древней Греции, у Кассиля – с республикой Швамбрания, что читали Булгакова, Кунина, Акунина... Биографией человека, как полагал Мандельштам, является список прочитанных книг. Но это не про *жюльвернов и майнридов, отверженных и трехмушкетеров, хэмингуэев и ремарков*, и не про то, что было стандартом для всех... Потому про *список* лучше умолчать. Тут хвастаться нечем.

Всякий, кто достаточно долго прожил при советской власти в той самой стае бабуинов, будь он антисоветчиком, диссидентом или отказником, впитал все шаблоны и ограничения, навязанные тем режимом. В советские времена власть контролировала частную жизнь. Теперь в частную жизнь она как будто не вмешивается. Но общественная жизнь в России так и не возникла. Или осталась архаичной. На невзгоды обыватель реагирует, как и прежде, – всё переживем, всё перетерпим, лишь бы не было войны. Война остается главным событием в жизни страны. Спустя тридцать лет какой-то Академик предложил участвовать в выборах родственникам двадцати семи миллионов погибших в войне. Но как голосовать? От их имени? За кого? Против чего?

Дядя Марка ушел на фронт, оставив пятнадцатилетнего сына-школьника и жену. Члены одной из семей, живших по соседству, пошли служить в полицию к оккупантам. Во время карательной операции донесли, что жена красноармейца с сыном – евреи. В январе 1943-го узнал, что семья расстреляна. С того дня рвался под пули. Все время на передовой. Не хотел жить. Попастъ под обстрел ростом почти в два метра – верный шанс. Но дошел до Берлина, получив одно ранение. Пулевое, навывлет: из одной щеки в другую. Выбило зубы. Такое аккуратное пятно на одной щеке. И на другой. Вернулся из Берлина с верой, что войну выиграли благодаря Сталину. Дожил до старости. Похоронен на кладбище рядом с братской могилой, где лежат расстрелянные жена и сын. Мир праху Героя войны. Настоящего героя. Но воспользоваться дядиным правом голосовать означает одно – оживить его сталинский морок. И свой тоже.

Было что-то душещемляющее в рассказах Марка о читательских вкусах в школьные годы, прежде всего, о книжках про партизанскую войну (почему-то засело название «Это было под Ровно»), наконец, об интересе к журналистскому ремеслу. Понятное дело, он *вывернул* на первую заметку в газету. В 1949-м написал про сбор классного отряда, подписался *звеньевой* и отправил конверт в «Пионерскую правду». Отказ в публикации пришел в школу. Классный руководитель зачитала письмо в классе. А на перемене услышал про *нашего* еврея, который лезет в писатели. Это письмо, напечатанное

на бланке «Пионерская правда» с орденом Ленина, сохранилось в архиве Марка.

Переосмысливая свою биографию сочинителя, Марк вспомнил, как в семнадцать лет получил диплом об окончании Книготоргового техникума и решил уехать из Москвы в Туву. Почему именно туда? Ведь мог отработать положенные три года в Москве. Или где-нибудь поблизости, в Подмосковье. Нет, захотел испытать себя. Из южного края Сибири пришел запрос Тувинского книготорга. Там требовался товаровед книжной продукции. Бешеные *подъемные*, бесплатный проезд. Марк уехал первого августа 1957-го, накануне открытия в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На перроне Ярославского вокзала его провожали отец (он уже тогда про себя звал его по имени – Сал), мать. Подошел и приятель отца – с ним когда-то они отплыли вместе на корабле из Аргентины. Для них, имевших опыт безрассудных решений, отъезд его был поступок. Из всех сил Сал пробовал убедить сына. Ведь Марк рисковал потерять московскую прописку. Мало того, барак к концу года шел на слом и его жильцов переселяли в пятиэтажный дом со всеми удобствами. Одно дело получить там на троих однокомнатную квартиру. И другое – двухкомнатную на четверых, включая Марка. Впрочем, все обошлось. Сал как-то сумел не выписать его. Марк же при получении диплома подписал направление на работу и отправлялся в Сибирь, не очень задумываясь о последствиях.

Путь в Туву лежал через Абакан. Дальше железной дороги нет. Интригой в поездке был решительный отрыв от родительского дома. Первый опыт такого отрыва – двухнедельная студенческая практика в подмосковной Коломне. Там начал писать в «Коломенскую правду». Там почувствовал вкус к журналистике. Преподаватель в техникуме по фамилии Осипов поддержал его и даже протезировал немного, потому что был членом редколлегии журнала «Книжная торговля». В журнале случилась первая серьезная публикация. Тогда Марк решил заняться сочинительством.

В поезде на пути в Туву начал вести путевые заметки, которые оченьгодились. Абакан был точкой, откуда началась романтика. С вокзала пошел на автобусную станцию. Выяснил, что автобус на Кызыл идет два раза в день – утром и вечером. Если пассажиры успевали на утренний рейс – к пяти вечера были в Кызыле. Если на вечерний – ранним утром следующего дня. Сел на вечерний.

Дорога в столицу Тувы проходила через Саяны по Усинскому тракту. Ехали по серпантину всю ночь. К утру добрались до Кызыла. С автобусной станции явился в книготорг. Начальник, по фамилии Зябриков, определил должность, место работы и дал адрес, где предстояло жить. Попал в многодетную семью. Его съемная комната не запиралась. Сразу заметил, что там хозяйничали в его отсутствие. Открывали чемоданы, рылись в шкафу... Кое-что пропало из вещей.

С наступлением холодов съехал. В дом на окраину Кызыла. По утрам из своей комнаты слышал, как хозяйка тетя Феня, женщина в три обхвата, сталкивала с кровати мужа, щуплого Луку. Гнала его занимать очередь за отрубями, купить крупы, хлеба, насыпать зерна *курям*... Тот тихо ворчал, но собирался быстро. Чертыхаясь, отодвигал засов и шмыгал в дверь наружу. Сама тетя Феня, впрочем, тоже не залеживалась: спозаранку ворочала чугунами у плиты, заваривала корм свиньям, выпроваживала дочь в школу, дожидалась, пока выйдет постоялец...

С окраины Кызыла до центра и к школе ходил автобус. На остановку плелись старшеклассники. Среди них Алька – дочь тети Фени. Рябая в отца, робкая, щупленькая, она пугала Марка своей обыденностью, заземленностью. А вот кондукторша в автобусе будила воображение. На нее Марк сразу положил глаз. Может, потому, что улыбалась ему. Он брал билет и оставался у кондукторской стойки. В переполненном автобусе это было непросто. Но он так ни на что и не решился. До сексуальной революции Парижа-68 было еще десять лет.

Вспоминал, как хотел описать эту кондукторшу, когда смотрел «Мамочку и шлюху» Жана Эсташа. Фильм гремел в середине 1970-х. Режиссер покончил с собой так же, как и жил, оставив записку на двери собственной квартиры: «Стучите громче, как если бы вы должны были разбудить мертвого». Немыслимо, что с этим фильмом зачем-то выплыва-

ли кондукторша, а за ней Алька. Зимний солнечный день. Комната в горнице. Воскресенье. Тетя Феня, ее муж Лука, Алька сидят за столом и лепят пельмени на зиму. Марка усадили тоже. Налепили несколько тысяч. Вместе вывешивали мешочки с пельменями за окна под навесом. Мороз подбирался к тридцати градусам. А потом пили чай с вареньем. Луке опять досталось: чего расселся, лезь в подвал за банкой с голубикой, я ж кривая. Тетя Феня припадала на одну ногу.

А ведь мог со своими сексуальными фантазиями запросто увязнуть в Туве, скажем, женившись на Альке. Она ж влюбилась и, когда провожала в аэропорт, чмокнула его неожиданно влажными губами. Понимала всё только тетя Феня. Всплакнула на пороге: мол, чего мечтать, москвич, где ты и где мы... А ведь мог, мог остаться на земле, окруженной хребтами гор. И жить тут, если не с тувинцами, то среди них, с их верой в шаманизм. Если не в степи, то в столице Кызыл. Первоначальное название Белоцарск и то было лучше. Но что лучше, что хуже, какое это имело значение. Когда вернулся в Москву, ощутил ужас – провести жизнь в котловине, где серый туман, копоть, ядовитый смог. Кызыл представлял собой лишь ряды улиц с деревянными домами. Дым скапливался в воздухе. Хиус, от которого больно дышать. Хотя и стоит город у самого слияния двух больших рек – Бий-Хема и Каа-Хема, которые образуют Улуг-Хем (Великая река), что по-русски – Енисей. От тех времен осталась фотография – он у входа в юрту, рядом ее обитатели, дети степи. Ну, и

вырезки его заметок и статей из «Тувинской правды». Марк пробовал связать сочинительство в Туве, чтение энциклопедии, школу, прочую чепуху с началом самосознания.

Как же далека его память от действительности. Это как представление, будто он помнит войну. Смех! Ему не было двух лет, когда она началась. Но вот готов рассказать всё от первого лица. На фронт отца не послали. Выдали *бронь*. Власти, готовя Москву к сдаче наступающим фашистам, эвакуировали завод, где работал отец, в Ульяновск. Отца отправили со станками. Спустя еще несколько недель завод эвакуировал туда и семьи заводчан. Мать застряла с Марком и его сестрой-погодкой в эшелоне. Состав отъехал от Москвы уже на несколько сот километров, и где-то на полпути вагоны с гражданскими почему-то отцепили от паровоза. Неделью стояли на полустанке. Оставив малолеток под присмотром пассажиров, мать отправилась на поиски почты, чтобы дать Салу телеграмму. Сал показал начальнику цеха телеграмму. Тот на свой страх и риск дал рабочему двое суток отпуска. Несколько часов Сал нырял под составами, пока отыскал семью. На станции за какую-то немыслимую взятку дежурный впихнул их в переполненный вагон отправлявшегося поезда. Мать прожила до ста лет и каждый год в День победы 9 мая вспоминала эвакуацию. Ее рассказы я приватизировал, позже иронизировал над собой Марк.

Ульяновск, эшелон, шелепихинская школа под номером 105... Мы часто помним то, что хотим забыть. И забываем то, что хотим помнить. Сочиняя, мы пишем нередко о том, о чем предпочли бы не писать. Объявляй себя трижды агностиком и десять раз атеистом, не уйти от мысли: нет, не эшелон, не Ульяновск, не безобразие жизни, осевшее на задворках памяти, а увиденное из окна гостиницы в Фолкстоне достойно описания божественными красками. Выйдя из оцепенения, заложишь руки за спину и диктуешь стенографистке совсем другое. Почему стенографистке, а не машинистке? И диктовал ли Марк вообще кому-либо? Капризной машинистке Люсе, которая жаловалась Главному редактору Журнала, что не разбирает его почерк.

Событиям тем более полувека. Марк начинал их описание в Фолкстоне, а продолжал в лондонском пригороде Фарнборо, известном проходившими тут каждые два года авиашоу на знаменитом аэродроме. Жена работала в госпитале неподалеку. Потому сняла квартиру в Фарнборо. Езды от Лондона с полчаса, не более. Он приезжал и садился писать. Окно комнаты выходило на корт.

Второй день лил без перерыва дождь. Перед теннисной стенкой огромная лужа. А так мог выйти с ракеткой на полчаса, чтобы размяться. Потом снова за письменный стол.

В середине дня все же выбрался прогуляться. В замшевой куртке на теплой подстежке, с зонтом-тростью, в перчатках, шарфе, шапке-ушанке. Прошел через парк Королевы Елизаветы, мимо рукотворного пруда – в нем мелкие рыбешки и лягушки-квакушки под табличкой, напоминающей про закон об охране природы. От пруда чуть правее под кронами дубов тропинка, устланная мягким ковром желтых листьев. Она ведет напрямик на Фарнборо Хилл к подножию замка французской королевы Евгении. Холм с дивным видом вокруг. Присел на лавочку и подумал, а с чего это Чехов в своих пьесах все восклицал: *«Надо скорее работать, скорее делать что-нибудь, а то не... жить!»*, *«Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду работать... И... Будем жить!»*, *«Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить!»*, *«Будем жить, мы, дядя Ваня, будем жить!»* Не потому ли, что ему предстояло умереть в сорок четыре года?

Гложет и гложет мысль: еще пару месяцев назад был здоров. Абсолютно. Но вдруг смертельный диагноз. Зачем такой конец? Как знать! Бог создал человека свободным, но правильнее объяснять зло и страдание в мире не свободой человека, а хитростью Бога. Эйнштейн утверждал: «Господь изощрен, но не злонамерен». Именно так. Литературовед Э.³ подхватил это утверждение, *спрыснув* его досужим: «Бог

³ Литературовед Э. – М. Эпштейн, культуролог, филолог, автор книги «Ирония идеала».

не только всеблаг и всемогущ, но и всехитр, каким и должен быть ловец человеков и промыслитель судеб, нам неведомых». Литературовед спровоцировал Марка двинуться по знакомой *стремянке*: птенец не понимал, почему чайка-мать склевывала то, что в зобу принесла ему. А потому что учила жить. Хитрый тот, кто скрывает свои намерения, ведет нас непрямыми путями к достижению своих целей. Если родители хитрят с несмышленишками для их же блага, то почему не допустить, что Небесный Отец еще дальновиднее, а значит, и хитрее. Подумал, что более корректно о Боге – не хитрый, а лукавый. Из памяти собственного детства вылезла ложь про буханку ржаного хлеба. Мать убеждала, что черный хлеб полезнее белого. Ловил себя на мысли, что хитрила: не полезнее, а дешевле. А булочку калорийную с изюмом просто не покупала. Двухсотграммовую пачку сливочного масла растягивала на несколько дней. И как она впихивала белым ножом в круглую масленку этот квадрат масла, спрашивал сын спустя десятки лет. А бутерброд, намазанный толстым слоем маслом, а сверху еще кружок докторской колбасы или сыра советского – такое иногда ел у Мирдзы. Но никогда дома.

В детские годы укладывалось всё, что угодно, только не недостаток и тепло. Завалинка под окном, от которой шел пар под весенним солнцем, грядки с картошкой, которую высаживали после редиски в поле перед баракком. Таскали ведрами воду с Москвы-реки. И он тоже. Крутой берег изматывал быстро. Принесет ведро, перельет в лейку. Польет грядку.

Потом опять вниз. На следующий сезон окреп и таскал как все, по два ведра. Позже к огородам подвели водопровод.

Что еще? Запах антоновских яблок с Тишинского рынка. Правильно уложенные в погреб, они могли сохраняться до января. Почему-то соседи относились к нужде проще. Первую неделю после зарплаты пили-ели от пуза. Мать иронизировала: *сегодня густо – завтра пусто*. Потом шли просить займы до получки... Стучали в дверь, оставались в коридоре, в комнату не заходили и просили: «Рима, займи до получки двадцать рублей». Мать чаще говорила, нет, не могу. Хотя сама никогда не занимала. Так планировала, что укладывалась. Но какой ценой – никогда на столе не лежали яблоки в вазе, хлеб в хлебнице. Всё выставлялось на стол ровно столько, сколько надо, чтобы оставалось на завтра. Психологическая травма на всю жизнь.

Соседи с самой весны часами высиживали на лавке перед входом в барак. Тут после ночного дежурства курил махорку-самокрутку дядя Петя, сторож с фабрики *Трехгорка*. Лузгали семечки ткачиха Зинка, ее напарница Верка, дочь шофера Курышева Катька, на сносях. Сюда приходил курить сварщик Колька, электрик Васька... Всё вокруг было засыпано окурками и шелухой от семечек. По выходным, праздникам пели-плясали и всегда сквернословили...

Вместе с именами из той жизни запомнился паводок на Москве-реке. Гул ледохода едва доносился в форточку. Не мог заснуть, прислушивался, прикидывал – добежит ли но-

чью до холма, где стоит школа. Или волна быстрее. Догонит и накроет всех. Однажды на ночь к бараку подогнали грузовик. Председатель паводковой комиссии завода определил час эвакуации. Отец на берегу вешками отмечает подъем воды. В полночь, убедившись, что скорость наступления паводка замедляется, взял на себя ответственность – повременить с переездом до утра. Мать была вне себя – если вода подступит к бараку, отца посадят... А с другой стороны, помнила эшелон, разъезд, отцепленный вагон, одна с двумя детьми... И теперь опять? И ночевать со всеми в актовом зале школы под казенными портретами? Тогда спросил себя, а что, стихия сильнее сталинских планов овладения природой? Так ли было, никто теперь не скажет. Но никакой паводок нельзя сравнить с тем, что происходило в школе. Тут он, вероятно, был точен. Улеглось ли, чтобы забыть? Ни черта подобного. Убедился, едва из архивов выпали четыре пожелтевших тетрадных листочка 1952-го года: его сценарий пионерского сбора «Мир – миру». Он, ведущий, начинает с обращения: *«Ребята! Этот сбор мы посвящаем борьбе за мир. Народы всего мира борются за мир. За мир боремся и мы, советские люди. В честь мира советские люди перевыполняют нормы, устраивают митинги, на которых выступают против поджигателей новой войны...»* Это дикое «ребята». А как иначе, как иначе обратиться к одноклассникам? *Товарищи? Друзья?* Они не были ни тем, ни другим. Потому *ребята*, конечно... Вот они, одноклассники, читавшие стихи по

строфам: 1-й чтец Задубровский: *Атомной бомбой грозят нам злодеи*, 2-й – Гулин: *Но вражьи угрозы нам не страшны*, 3-й – Игнатов: *Воля народов орудий сильнее, Армия мира сильнее войны...* В конец сценария вставил хоровое исполнение «Песни о мире» и марша «Сталин – наше знамя». А потом его назначили политинформатором. И это поручение ему нравится. Вот еще два тетрадных листка того времени. Доклад посвящен годовщине: *«Ребята! Сегодня исполнился год со дня смерти И. В. Сталина... Великий светоч мира И. В. Сталин... К нему, любимому отцу и учителю, обращаются народы всех стран... Имя Сталина произносится с любовью на всех языках мира...»* Сплошные славословия вождю, бессмысленные и просто идиотские. Тетрадные листки исписаны каллиграфическим почерком.

Английский писатель в 2017-м разглядывал реликтовые листочки и допытывался, что Марк чувствовал, когда писал это. Ну, поди объясни ему, что тут дело не в чувствах и не в том, что думал, а в том, что никакого труда сочинить такое не составляло. Газета «Правда», радио изо дня в день талдычили словесными блоками. Выводить буквы, складывать слова в предложения, обозвать докладом и прочитать перед сном – удовольствие. А наутро прийти в класс и дожидаться момента, когда классный руководитель объявит о начале политчаса и выступить в роли докладчика или ведущего на сборе! Эти минуты были мстью за унижения: мол, говорю о Сталине, и вы должны слушать меня.

Говорили об этом (так совпало) в дни инаугурации американского президента Трампа и вместе сочувствовали его сыну, двенадцатилетнему Баррону. Ребенок стоял рядом с отцом, раскачивался из стороны в сторону и не очень-то вникал в происходящее. Ему было скучно. Марку, мне с моими друзьями-евреями в возрасте Баррона скучно не было, это уж точно. Статьи в «Правде», вроде для взрослых. Не всегда, но частенько так получалось, что мы, дети, оказывались в курсе того, что писала центральная газета – про *безродных космополитов*, которые не хотят ассимилироваться, глядят на границу, хотят туда улизнуть. А чем им тут не рай? Торгуют, подворовывают, учатся. Сталинские премии получают. Чемпионами мира по шахматам становятся. Да если бы не Сталин, всех их Гитлер в концлагеря бы загнал и передушил.

Сал во время прогулок брал на себя роль наставника. Казался ли отец мудрым, такое утверждать с уверенностью Марк бы сегодня не стал. А тогда? Сал пробовал внушить сыну, что в отличие от насильственной ассимиляции, натуральная есть реальность, с которой не считаться глупо: мол, живешь среди русских, осваивай их культуру, литературу, читай Пушкина. А учить иврит ни к чему, и ходить в синагогу – тоже. Пару недель, предшествовавших смерти Вождя народов, родители в разговоре между собой часто переходили на идиш. Понятно, чтобы скрыть страх. Начало 1953-го года. Шелепиху настигли слухи о депортации евреев в Сибирь из Москвы. Подогнали эшелоны на Курскую-товарную.

Сталин, мол, хочет ссылкой защитить евреев от гнева советских людей. За столом приятели-эмигранты. Слушать их интересно. Но то и дело они переходят на идиш. Когда речь заходила об антисемитизме – ограничениях при приеме на работу, негласных квотах при поступлении в университет, псевдонимах видных евреев, проявивших себя в науке, литературе, искусстве.

Поди разберись в двенадцать лет. А вот сочинять сценарии сборов и доклады, выводить буквы каллиграфическим почерком, такое было по зубам. И это материнское: *тише, соседи за стеной услышат, хватит о политике*. Осуждать ее спустя полвека – много ума не надо. Ей, потерявшей близких в Холокосте, пережившей эвакуацию, выстаивавшей в очередях с утра до вечера за хлебом, мясом, молоком, оставаясь на иждивении мужа с двумя детьми, ей было чего бояться. Так что листочки из школьной тетрадки – сплошной конфуз. Необъяснимый человеку из другого мира. Вот еще деталь всплыла. Хотел стать политиком. Потому что для этого никаких знаний не требовалось. В той школе мало что освоил. Математику ненавидел. Физику не понимал. Химию не запоминал. Зоологии стеснялся. Русский язык любил. И литературу. Но читал в четырнадцать лет книги только про войну.

До самого поступления в университет Марк оставался задавленным страхами, бедностью, памятью о послевоенной школе на окраине Москвы. Одноклассники внушили ему

стыд и презрение к себе за принадлежность к классу *торгашей*. Вспоминал, как мать не соглашалась продавать газеты и журналы в киоске «Союзпечать». Сал, ухвативший кое-что с Запада раньше, чем променял его на Советы, не понимал, где истоки предубеждения к *торгашам* как к спекулянтам, *накопителям*. Возможно, оно передалось от русских интеллигентов позапрошлого века, из которых вышла вся эта мразь – народовольцы, бомбисты, революционеры. Торговать считалось делом постыдным. Предубеждение к *торгашеству* угнетало Марка дольше и больше еврейства. Потому *убегал* от прилавка книжного магазина, как черт от лада-на. Инфантилизм общества, перекосы в мышлении, в формировании системы ценностей губили поколение за поколением. Стремление приспособиться двигало всеми помыслами и поступками, подавляло попытки преодолеть трусость, желание свободы. Воля и мужество оставались виртуальным чувством, поводом для самокопания, источником комплексов, кладбищем *тайн*. Марк увидел себя совсем не героем. Годы учебы на Моховой совпали с движением *шестидесятников*. Но ни на одном поэтическом *чтении* у памятника Маяковскому он, кажется, так и не появился. По пути домой трусливо проходил мимо, не останавливаясь.

Активисты СМОГа ⁴ сновали с листовками по коридорам журфака. Вариация аббревиатуры движения – *Смелость*,

⁴ СМОГ – «Смелость, Мысль, Образ, Глубина» – литературное объединение молодых поэтов.

Мысль, Образ, Глубина – цепляла тем, что ничего в себе не находил. Никаких причин примкнуть к отчаянным смельчакам. На похороны Пастернака в Переделкино не поехал. Хотя «Доктора Живаго» прочитал. Да что Переделкино! Сокурсники звали на Пушкинскую площадь. Пятнадцать минут пешком от факультета. В восемнадцать часов затевался митинг в защиту писателей Синявского и Даниэля (публиковавшихся под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак), арестованных несколько месяцев назад. Не пошел. Отсиделся на лекции. Понимал, что участие может кончиться отчислением с факультета, потерей работы, крушением всего, что с таким трудом выстраивал в жизни. Уже пару лет служил в студенческой газетенке, уже искал место в редакции солидного издания, уже перебрался с окраинной тогда Шелепихи в центр Москвы, купил кооперативную квартиру, искал дополнительные заработки, чтобы гасить кредит, отдавать долги... и всё разом перечеркнуть? Снова лишения? Преследование властей, отчисление с факультета. Нет. Слишком дорога цена.

Понимал, конечно, трусость таких, как он, продлевала существование преступного Режима. Но все равно вместо борьбы выбирал *выживание*. Ничтожный, жалкий, несчастный человек сидел в нем, разрешавший себе лишь трусливое, молчаливое, виртуальное неодобрение. Склонность к графомании не спасала. Кругом говорили: придет опыт, наберешься ума, станешь писать лучше. Но про себя он знал

страшную правду – таланта у меня нет, но много самолюбия. Внештатно сотрудничал в московских газетах, в магическом АПН, на телевидении... Еще студентом проходил практику в «Вечерке». Публикации подвергались унижительной правке. Порой существенной. Но кто это знал, кроме него? Сокурсники уже работали на радио, в «Комсомолке», журнале «Огонек», в том же АПН в международных редакциях. Он – в студенческой многотиражке. Писал и публиковался сколько душе угодно. Надо было заполнять полосы. Стал ответственным секретарем. Правил литсотрудников, внештатных корреспондентов, макетировал, ездил к цензору подписывать номер, затем в типографию. В наборном цехе с выпускающей, девицей в сатиновом халате, ужимал «хвосты», переставлял, сокращал, разгонял, чтобы закрыть пробелы. Жертвуя отпуском, выписал себе командировку в Сибирь. Подготовил очерк о студенческом отряде, строившем БАМ. Его опубликовала престижная газета «Гудок», где когда-то работали легендарные сатирики Ильф и Петров. А все равно уверенности не ощущал.

Никто об этих терзаниях не догадывался, хотя с женитьбой, получением диплома, вступлением в творческий союз, пропуском в Дом журналистов окружение кардинально поменялось. Престижем профессии кружил голову девицам. Но обманывать себя было труднее. Даже когда перешел работать в старейший отраслевой журнал, у истоков которого стоял брат Чехова. Перед сдачей материала испытывал

панический страх. Пугали состязательность, критика, подначки, редакционные склоки. Писал и переписывал, правил и чистил рукопись до последнего. Литсотрудники сидели в большой комнате. Ощущение порой, как в классе той самой школы. Рядом стол поэта, выпускника Литинститута. Рифмоплета высмеивали в глаза. А вот другой сосед по столу, В. – с биографией. Сплетничали, будто в муках творчества, сползавших к пьянке, в споре нанес себе увечье – отрубил указательный палец на левой руке. Вел себя независимо, а порой нагло. Посмеивался над главным редактором. Трунил над коллегами. Под критику В. попасть совсем не хотелось.

Забавно, что спустя полвека вдруг нашел его признание, которое вполне мог бы приписать и себе. Выразить бы так не смог, а приписать запросто: *«Я отправился в Сибирь не из патриотизма, не совершать трудовые подвиги (хотя вкалывал на совесть), но цель моя была скорей личная, эгоистическая: разобраться с собой и с жизнью»*. Марк ведь тоже ездил в семнадцать лет разбираться с собой. По Транссибирской магистрали – до Красноярска, затем по ветке на Абакан и на попутке через Саяны по серпантину к монгольским границам. До ближайшей железнодорожной станции пару сотен километров. Не сбежишь. Сидел там полтора года. Но разобрался ли с собой? Не очень...

Слушая Марка, я откровенно сказал ему, что при всем моем сочувствии я бы никогда не поменялся местами с ним. С его дохлой, горемычной еврейской душонкой. Тут смесь

жалости к себе и ненависти к обидчикам. Я не понимаю, как он мог терпеть гнет одноклассников-антисемитов. Надо было драться в кровь, до смерти, никого не слушая, пробуя преодолеть страх. Он же бежал из семилетки в какой-то там техникум.

Однако Марк вывернулся – оказывается, теперь он считал эти неприглядные, разрушительные вехи его биографии ступенями к сочинительству. До поездки в Сибирь практика в книжном магазине. Первая публикация в многотиражке «Московский книжник». Под колонкой аннотаций «Новые книги» его фамилия. Почти без изменений сдирал краткие аннотации на титульном листе поступивших в магазин новинок. Располагал по темам. Придумывал связки. Вот и все. Содержание-то аннотаций не его. Когда же вернулся на занятия в техникум, на стенде висела страничка газеты с его фамилией под колонкой. И этого было достаточно, чтобы ощутить, что, может, хотя бы чем-то обратил внимание на себя. И, прежде всего, девочек! Во время большого перерыва в коридоре, когда гуляли парами, услышал про свое *писательство* от самой Любаши. Именно так, сложив губки бантиком, она обратилась к нему при всех: «*Наш писатель!*». Ухлестывал за ней, стараясь выглядеть самодовольным. Разглядел и мушку-родинку на левой щеке, и прямой греческий носик, и завитки черных волосиков на висках.

Начисто забыл имена многих возлюбленных. А вот запах пота от школьного платья Любаши, из которого она выросла,

помнил. И грудь, распиравшую верхние пуговицы. Когда она брала его под руку, решил: через это *писательство* она позволит ему расстегнуть пуговики. Тогда, мол, понял окончательно, что *писательство* может стать компенсацией за пережитые в школе унижения.

Первую свою настоящую статью опубликовал в подмосковной районной газете «Коломенская правда». По школьному изложил впечатления о практике. Потом были публикации в журнале «Советская книжная торговля». Гонорары, пусть грошовые, но добытые литературным трудом, разжигали честолюбие. С дипломом об окончании книжного техникума в кармане ехал в Сибирь за впечатлениями. В первой же командировке связался с «Тувинской правдой». Писал про самые отдаленные уголки республики. Запомнились два названия – Тында и Тоджа. Там, в Туве, заболел сочинительством, не догадываясь, на какие муки обрекает себя. Никакой уверенности, что может писать, не ощущал. Но поверил, что этому можно научиться.

Спустя полтора года, вернулся в Москву с публикациями. Подал документы на факультет журналистики. Творческий конкурс прошел, а экзамены по общеобразовательным предметам завалил, а может, не прошел по конкурсу. Здание МГУ, возведенное на Ленинских горах в 1950-е годы, указывало на готическую архитектуру. По примеру Европы, устремленная ввысь готика подходила МГУ как нельзя лучше. Дух шпилей и башен по замыслу архитекторов нацели-

вал студентов на преемственность, на желание действовать. Увы, чистая линия шпиля нового здания МГУ никакой преемственности, так и не прочертив на практике, осталась абстракцией.

Помню, когда Марк только рассказал мне о сюжете «Романа Графомана», я посоветовал ему раскрыть свои *сокровенные тайны*, разобраться со своим прошлым, перепрыгнуть барьер пережитых унижений. Надо писать о том, что думаешь, чувствуешь, испытываешь в связи с пережитым, а не о самом пережитом. Иначе хорошей прозы не получится.

Глава II

Дом на Старолесной

Происходившее в квартире на Старолесной до моего рождения складывалось из отцовских воспоминаний и из рассказов матери. Они и составили картину детства. Отец был старше матери почти на четверть века. После отъезда отца в эмиграцию мы остались на Старолесной. Стены квартиры слышали много чего и кое-что рассказали моей матери. Так она утверждала. На самом деле, думаю, многое рассказывал ей отец. Благодаря сокурснице, его приглашали на премьеры, на театральные тусовки, в артистический салон Москвы. Сюда, на Старолесную, после спектаклей приезжала Заслуженная актриса. Глубоко за полночь из ванной раздавались крики и всхлипы. Актриса приходила в себя после бенефиса, учила новую роль... Нет, с актрисой может жить только актер! Расстались быстро. Однажды попросила ключ замужняя коллега отца. У нее случился адюльтер с Д., лондонским корреспондентом АПН. В альбоме я нашел фотографию полувековой давности. Красавица сидела на стуле, а над ее головой висел слоган: «Убей редакцию хорошим материалом!» Редакция выжила, а вот адюльтер с возлюбленным, советским шпионом, работавшим под крышей АПН, прикончил коллегу. Она свела счеты с

жизнью. Спустя много лет диссидент Буковский рассказывал о том возлюбленном: «В Англии газета „Гардиан“ напечатала статью корреспондента АПН Д. Как водится, весь джентльменский набор: и террорист, и агент империализма! Поначалу я обрадовался. Ага, думаю, попался! Это тебе, дорогой, не в Москве. Тут и суд праведный, и ответственность за клевету в печати. Сейчас я выясню, откуда вы эти „штурмовые пятерки“ взяли. От „Гардиан“ нужно мне было лишь формальное извинение, чтобы потом вплотную заняться Д. Два года тянулось судебное препирательство. За это время Д. перешел в штат посольства и прикрылся дипломатическим иммунитетом...» Это я нашел в архивах отца. В двенадцатиэтажном доме на Старолесной соседи читали диссидентскую литературу, слушали «Голос Америки», «Би-би-си». Мать рассказывала мне, впрочем, что на квартире в те годы прочно поселился страх. Позже, во время наездов отца в Москву, он мог бы мне рассказать больше. Я приглашал его в элитные клубы нулевых, но по молодости лет не особо расспрашивал. Теперь жалею.

Типовая многоэтажка на Старолесной с квартирами улучшенной планировки казалась раем. Дубовый паркет вместо линолеума, крошечная прихожая, стеклянная дверь, отделявшая кухню, – ничего подобного не было в стандартных *хрущевках той же планировки*. Смежные комнаты и совмещенные санузлы, впрочем, новоселы разделяли перегородками за свой счет. Долг за паевой взнос превышал две годовые зарплаты. Мебель купить не на что. Спал на раскладушке. Обеденным столом служила газовая плита, накрытая газетой. Но после коммуналок и барака не верилось, что стал собственником отдельной квартиры на втором этаже, с ванной и кухней. Из-за окон, выходивших на крышу парикмахерской, встроенной в первый этаж, сюда никто не хотел въезжать. Потому Марку и удалось *протыриться* в этот престижнейший ЖСК в десяти минутах ходьбы от улицы Горького. Снятие двадцатилетнего запрета на организацию жилищно-строительных кооперативов – знак *оттепели* середины 1950-х. Для творческой элиты, детей партийных чиновников кооперативы возводили в центре Москвы. Рабочий класс, заводская инженерия, прочая публика получала бесплатное жилье в отдаленных районах – Черемушках, Мневниках и на окраине столицы. Паявые же взносы для вступления в ЖСК стали естественной и справедливой селекци-

ей. Слесарь-сантехник из ЖЭКа, отправляясь по вызову в ЖСК, понимал – тут люди пишут книги, редактируют журналы, снимают фильмы, ставят театральные постановки, ведут передачи на телевидении. В ожидании щедрых чаевых приходил трезвый, работал добросовестно.

Обитатели кооперативов включились в статусные игры. Кроме того, жить в холостой квартире в центре Москвы – *бонус!* Дружить с хозяином – значит получить ключ... в середине рабочего дня. Иронизировали, зубоскалили, подтрунивали друг над другом, но адюльтеры 1960-х разбивали кроткие сердца – и в друзья навязывались все. За ключ в годы жилищного кризиса предлагали любые *пирог, пышки и коврижки*. Один из приятелей, поздравляя хозяина, откровенничал:.... *И пламенно, и нежно их любя, / Не забывай, что есть еще и я, / В быту всесилен, хваток и могуч, / Но, как и всем, мне тоже нужен ключ!*

От назойливых отбиться труда не составляло. Сложности возникали с близкими. Приходилось за них думать, как исключить риск столкнуть в квартире мужа с подругой, его жену с любовником. Отказы в ключе принимались с обидой. В гости заваливались зваными и незваными. В праздник и в будни. Приходили с *бутылкой*, батоном *докторской* колбасы, банкой маринованных огурцов-помидоров. Со своими бедами, блюдами, настроениями, взглядами...

Что осталось от того времени – совсем не важно. Достоверная картина прошлого все равно не сложится. Память –

последнее, на что можно полагаться. И не потому, что она выборочна. Глаз выхватывает в фотографиях то, чего раньше не видел. Иначе читаются записи полувековой давности, письма друзей, подруг. Изменившийся угол зрения опрокидывает давно сложившееся в голове. Может быть, бумагам, архиву, фотоальбомам лучше было своевременно исчезнуть. А если не исчезли, для чего сохранились? Разве чтобы доказать: память ошибается и время способно менять почти до неузнаваемости лица, виды, пейзажи, события, предметы, всё.

Гм, деревянная Елда. Как этот предмет очутился на Старолесной? Полвека назад покойный муж Завлитши промышлял изготовлением деревянных фигурок. Потеряв место в театре, продавал фигурки на рынках Москвы. И тем жил. Елду выстругал из сучка, подобранного в лесу. С этим подарком сантиметров в тридцать явился на Старолесную в день рождения хозяина. Судьба Елды реанимировала рассказ Чехова о канделябре, никак не находившем пристанища. От Елды хозяин квартиры тоже отделался – подарил ее приятелю. С ним Елда уехала в Нью-Йорк. В эмиграции приятели рассорились. Канделябр из бронзы со временем бронзовел. А деревянная Елда за полвека высохла, потрескалась и в таком виде вдруг вернулась к Марку из американского Брайтона. Он получил ее на семидесятилетие, в знак окончательного неуважения. Книга «Занимательная физика». С дарственной надписью от автора. Она напоминала о трагиче-

ской судьбе его семьи, взбудоражившей московский салон. Рак головного мозга у восемнадцатилетней дочери автора. Девочка сгорела в несколько месяцев. Через две недели исчезла жена. Ее труп обнаружили весной, когда сошел снег, в лесу на Николиной Горе. Рядом лежал пакет из-под барбитуратов и записка. Спустя два года автор книги полетел на историческую родину и не вернулся. Утонул во время купания в Мертвом море. Разрыв сердца. Семья жила в ЖСК «Большой театр» на Смоленке. Там осталась квартира, увешанная картинами дочери, семейными фотографиями.

Нелепые смерти 1970-х. От болезней, перепоя, несчастных случаев. Номер журнала АПН «Латинская Америка». АПН – синекура советской журналистики тех лет. Санек работал в том журнале ответственным редактором, печатал Марка. Водил дружбу со всем тогдашним андеграундом – поэтом «лианозовской школы» наследником футуристов Сапгиром, культовым художником Зверевым, которого Пикассо назовет лучшим русским рисовальщиком. Санек брал у звезд московского салона интервью, приятельствовал с ними. Однажды прихватил Марка к Звереву – рисовальщик принимал на общей кухне коммунальной квартиры, где проживал. И предлагал свои картины за бутылку водки. Андеграунд набирал в весе, соединяя авангард с китчем, благодаря реакции власти, а не достижениям в творчестве. Власть приняла леваков в штyki. В салонах тогда тяготели, наоборот, к левакам. Санек, работая в зарубежной редакции АПН,

имел выходы на зарубежных покупателей. Потому был востребован. Он женился на балерине, дочери знаменитого итальянского физика, бежавшего в Советский Союз. И первым делом привел ее к Марку на Старолесную. Родив сына, балерина ушла. Вторая жена, редакторша Литгиза, выводила Саньку из запоев и депрессии.

В затяжной «войне» с судами Санек зачем-то «отвоевал» сына у балерины. Доказал, что та любит больше искусство, чем сына. Но сначала умер сын, за ним сам Санек. Потом под автомобиль попал сын второй жены. И та тоже не избежала какой-то смертельной болезни. А ведь прежде в их квартире на Малой Бронной собирались в 1970-е модные поэты, подпольные художники. Сапгир, Холин, смоговцы, в числе которых была бесстрашная поэтесса Туся. Она выступала свидетельницей на процессах диссидентов Гинзбурга, Буковского, Галанского и Лашковой. Имена эти звучали в передачах «Голоса Америки». Туся приходилась родственницей сестер Лили Брик и Эльзы Триоле. Архивные записи Марка сохраняли рассказы о поездках на Долгопрудную, в Лианозово к художникам, к чете Кропивницких, о дружбе с литературными вдовами.

Музыковед Слава Б. женился и пригласил друзей на свадьбу. В архиве – его приглашение. Зацепило незнакомое «Вечер-баттерфляй». Московский Салон подражал Западу, путая с «фуршет». Нас всех ставило в тупик давно устоявшееся на Западе. Традиции Салона теперь исчезли из нашей

жизни вместе с элитой, но тогда пришлось осваивать, что «вечер-баттерфляй» – стиль жизни, определенный как «социал-баттерфляй», иначе говоря, для летающих с приема на прием.

Свадьба та запомнилась Марку отсутствием пространства для перемещения гостей с рюмками-тарелками. Вазы с салатами, паштетами, сырами и фруктами стояли на крышке огромного концертного рояля. Закусон быстро кончился. Крышку открыли, чтоб не залить рояль вином. «Теснота и полная невозможность выпить-закусить!» – запись на обороте приглашения. Вечер-баттерфляй осмеяли как буржуазную выходку в квартире на Ломоносовском проспекте. Так что никто ничего такого не перенял. На тусовках в доме генштаба на Соколе, в квартире кремлевского журналиста на Кировской, в Кривоколенном, всюду гостей встречали привычным застольем. А вот запись о поездке в Архангельское с девицей по фамилии Чечевица. Вечер на улице Зорге в квартире олимпийского чемпиона, встреча Нового года с подружкой из МХАТа – в Доме актеров... Барышни, даже в лютый мороз облаченные в мини-юбки, на каблучках, смазывали ухажеров. Многих из своих друзей, сокурсников, поклонниц Марк переживает благодаря эмиграции. Неожиданная смерть Музыкова даст импульс осмыслить заново собственный жизненный путь.

В квартире на Старолесной можно было нести любую ересь. Тот же Санек однажды завалился с бутылкой водки

и вестью... о международном еврейском заговоре. До утра обсуждали возможность его существования. Никакой вражды никто не чувствовал. Хотя половина сидевших за столом числилась в евреях. В другой раз на Старолесную в почти полном составе завалилась «Молодежная редакция» телевидения с Лысенко и Прошутинской во главе. Привел их друг студенческих лет Вадим, действительный автор программ и всех текстов, которые лишь *озвучивал* Юрий Сенкевич. Актеров самых модных московских театров на Старолесную водила Завлитша, друг со студенческих времен.

Тюлька, таскавшая с собой Карла Проффера и его жену Эллендею в московский ХЛАМ⁵, запомнилась Марку, по его выражению, *статью* русской красавицы. Тут он просто не мог удержаться от хрестоматийных *афоризмов*. Но лучше об ее отчаянной храбрости. Она презирала органы и играла с властью, напирая на соблюдение конституции. Рисковала, конечно, и многое разрешала себе, включая фарцу, интриги с заграницей, приемы иностранцев. Спустя много лет в эмигрантском русскоязычном журнальчике она рассказывала о банке с черной икрой, которую ложкой ела Эллендея. Деликатес в 1960-х, впрочем, не был таким уж недоступным. Однажды в Кривоколенном переулке в квартире студенческого друга (мать его делала подпольные аборт) нам тоже довелось есть черную икру столовой ложкой. Из огромной металлической банки. Ну, такой бартер случился: пациентка привезла с Сахалина. Незабываемо в скудные студенческие будни. Тюлька вспоминала не только икру, но и первого мужа, который воровал книги. Воровал в библиотеках, в музеях, в гостях. Этот вид воровства указывал на принадлежность к Салону, жившему изобразительным искусством, литературой, музыкой. Престиж интеллектуалов заменял в те годы деньги, драгоценности, ломая нормы морали. Спереть книгу

⁵ ХЛАМ – аббревиатура Художник, Литератор, Архитектор, Музыкант.

у друзей считалось доблестью. Брали почитать и «зачитывали», то есть, не возвращали. Записывать, вводить формулы, напоминать – бессмысленно. Страховки от книжного воровства не существовало. Тюлька вспоминала, как муж, попав в дом к известной литераторше, вытащил из ее уникальной библиотеки раритеты и, прощаясь, уже на лестничной клетке, под общий смех, все вернул хозяйке. Больше их в тот дом не приглашали. Но они не очень-то и напрашивались.

Мстительная память вытащила книжных воров на Старолесной. Зимой, в поздний час, когда метро закрылось, безденежная пара актеров из театра на Таганке осталась переночевать в кабинете Марка. К утру лицедеи стырили стоявшие на полке сборники Окуджавы, Высоцкого, Вознесенского. Набили книгами чемоданчик, с которым пришли, позавтракали и сгинули.

В ХЛАМе паслась фарца (*валютная, политическая, обывательская, окололитературная*), промышляли бляди, а с ними иностранные корреспонденты. Но не только. Дальняя родственница Вдовы Главного Поэта, девица Туся, длинноволосая, в высоких сапогах, с черным пуделем на поводке, входившая в группу СМОГ, была любовницей первого поэта андеграунда. А когда *гэбня* того затравила и он исчез, вышла замуж за Португальца. Уехала с ним в Лиссабон, но не прижилась там, бросила мужа и вернулась. Купила «жигуленка», училась водить за полночь, когда на улицах становилось пустынно. Заезжала к Марку на Старолесную, забирала его,

выворачивала на Бутырский вал и через улицу Горького выбиралась на Садовое кольцо. Затем по Кропоткинской ехала к Новодевичьему монастырю. У монастыря Туся одной рукой рулила, другой крестилась, по указателю выезжала на набережную Москвы-реки, оттуда – на Бульварное кольцо... и к Петровке, главному Московскому околотку. За самым известным после Лубянки адресом – Петровка, 38 стоял ее дом.

Поднимались на третий этаж уже под утро. Телефон трезвонил, как днем. Гости кричали с улицы, чтоб Туся впустила в подъезд. С рассветом пили чай, читали стихи, обменивались новостями, анекдотами. Здесь можно было встретить внука Члена Политбюро музыканта Серго, художника Кабакова, писателя Битова...

Хозяйка не скрывала, что ищет ухажера, который мог содержать ее. Салонные женщины, хотя и «попорченные временем», были талантливы, обидчивы, но неуязвимы. Их щит – культурный снобизм. Оппонентов они прикладывали фразами – *стыдно не знать, как можно это не прочитать, нельзя не заинтересоваться*. Чванливых авторов называли самовлюбленным чудовищем. Дружескую переписку шпиговали задиристым: *складывается впечатление, что ты не вникаешь в смысл, ты сделал ошибки, на которые следует обратить внимание, не дочитала из-за необъяснимого чувства неловкости и непреодолимого отторжения*. Указывая на событие, деталь, фамилию, предупреждали: *чтобы это не*

звучало для тебя пустым звуком. Ну, и вообще, намеревавшимся сочинять предписывали изучить историю и дипломатию *тех* времен, упиравшихся укоряли в лени... Подобный патернализм, впрочем, мог быть и мазохистской карой – за интрижку, которую не могли простить себе.

Кто только не навещал квартиру на Старолесной. Главный редактор престижного издания приезжала читать «Архипелаг ГУЛАГ». Частенько заглядывала сюда жившая по соседству опальная детская поэтесса. Наведывались и *отказники*. Так что при разводе Марка с первой женой больше сожалели друзья. Распадалось общество, где все чувствовали себя хорошо без лишней тарелки, без стула, примостившись на табуретке у краешка стола. Тут была аура свободы, которой так не хватало в те времена. Особо запомнилось лето 1968-го. Обсуждали *братскую* помощь Чехословакии. Бражничать начинали засветло. Когда темнело, через открытые окна квартиры выбирались на крышу парикмахерской. Там танцевали, обжимались, целовались. Ближе к полуночи кто-нибудь из соседей сверху охлаждал пыл влюбленных ведром воды, и все через окно же возвращались в квартиру. Расходились перед самым закрытием ближайшей станции метро «Белорусская». В доме наступала тишина. Лишь из окон верхних этажей на крышу парикмахерской звучно *шмякались* презервативы. Спустя десятилетия сосед запечатлел эти эпизоды в письме Марку так: «*Вам не нравился в той квартире выход через окна на крышу, а меня эта крыша привле-*

кала больше всего. Зимой под окном как будто снежное поле: в солнечный день свет слепил глаза! Летом же поздними вечерами я часами сидел на этой крыше в кресле-качалке. Вокруг – громадные деревья. Они выросли из саженцев, которым аккурат полвека. Крыша эта казалась каким-то таинственным садом: сквозь кроны мерцают огоньки. Тихо. Город шумит как будто за оградой. Не верится, что Тверская в двух троллейбусных остановках отсюда. Волшебные ночи!»

Обменять квартиру со второго этажа на девятый удалось не сразу. Пришлось ждать *многоходовки* – то есть сложившейся цепочки перемещений. На заседаниях Правления ЖСК спорили, интриговали, наушничали. Но обмен состоялся. Поселившись в квартире на девятом этаже, ничего домысливать не требовалось. Из окна кабинета в солнечную погоду поблескивал золоченый купол кремлевской колокольни Ивана Великого. При выходе на балкон с кухни вырисовывалась Пугачевская башня *Бутырки*. Бутырская тюрьма возникла во времена правления императрицы Екатерины II. Бутырский хутор считался тогда окраиной Москвы. Тут располагалась казарма Бутырского гусарского полка, а при ней – деревянный острог. В 1784 году Екатерина II дала московскому генерал-губернатору Захару Чернышеву письменное согласие на строительство тюремного замка на месте острога. Выдающийся столичный зодчий Матвей Казаков спроектировал Бутырский замок и Покровский храм в

центре комплекса. В Бутырский централ привезли закованного в цепи бунтовщика Емельяна Пугачева.

С 1868 года *Бутырка* стала центральной пересыльной тюрьмой. Через нее ежегодно проходило около тридцати тысяч человек. В тюремном замке были столярная, переплетная, сапожная, портняжная мастерские, а также мастерские по изготовлению венских стульев и выжиганию по дереву. Для жен и детей, добровольно следующих за ссыльными в Сибирь, тут открыли Сергиево-Елисаветинский приют. В сведениях о режиме содержания заключенных в те годы остались документы, в которых губернский тюремный инспектор доносил о некоторых «вольностях» узников. Арестанты купили вскладчину огромный самовар и вместе пили чай. В документах сохранилось описание инцидента с запрещенной литературой: политзаключенные получили от товарищей труды Карла Маркса на русском и немецком языках. Всех их освободили после Февральской революции 1917 года. Знаменитую тюрьму посещал Лев Толстой. В январе 1899 года, работая над романом «Воскресение», он пришел к надзирателям *Бутырки* и расспрашивал о тюремном быте. А в апреле вместе с арестантами, сосланными в Сибирь, прошел путь от *Бутырки* до Николаевского (ныне Ленинградский) вокзала. Этот путь он описал в романе. В Бутырском остроге сидели Маяковский, подпольные революционеры, включая Железного Феликса, анархист Махно... После Октябрьской революции порядки тут изменились. В *Бутырке* мотали

сроки Осип Мандельштам, конструктор Сергей Королев. В пересыльной камере сидел Солженицын. С развалом Империи *Бутырка* оставалась старейшей тюрьмой. Теперь власти планировали устроить мемориальный музей, а заключенных перевести куда-нибудь подальше, в Подмоскovie. Но, кажется, планам этим не скоро суждено осуществиться.

...Тогда же в праздничные дни, когда небо над центром Москвы расцветало салютами, обитатели *Бутырки* напоминали о себе бунтами. Запертые в камеры узники били алюминиевой посудой по металлическим решеткам на окнах. Жители окружающих домов узнавали о случившемся по гулу, отдаленно напоминавшему шквал аплодисментов в залах торжеств. Звуки, доносившиеся до балкона квартиры на Старолесной, рождали самые мрачные предположения. Тюремный двор обнесен колючей проволокой. О том, что творилось за двухметровой кирпичной стеной, можно было только догадываться. Такое обычно происходило ближе к ночи. Лучи прожекторов, глухие вскрики, иногда выстрелы. По Москве ползли слухи о беспорядках в *Бутырках*. Ни одна газета не упоминала о происходившем. На кухонных посиделках в такие дни языки распускали до крайности. Обладатели паспортов с *пятым пунктом* рассказывали друг другу про еврея, который сначала жил напротив тюрьмы, а потом – напротив своего дома.

Наутро Марк просыпался с мыслью, что никакие бунты не могут нарушить сложившееся положение вещей. Жизнь ка-

залась вполне комфортной. Вставал, принимал душ, пил кофе, надевал костюм, белую рубашку, выбирал галстук в тон пиджаку и спускался с божественного *поднебесья*. Здоровался с лифтершей, вытаскивал из почтового ящика «Правду» и отправлялся в Редакцию. Шел пешком. Маршрут занимал ровно сорок минут. Сначала по 3-й Миусской улице – тогда она называлась именем чехословацкого коммуниста Готвальда, затем по 5-й Тверской-Ямской – тогда она называлась именем советского писателя Фадеева, по ней выходил на Триумфальную площадь – тогда она называлась именем революционного поэта Маяковского. По Тверской улице – тогда она называлась именем пролетарского писателя Горького – доходил до Пушкинской площади – название ее Советы не меняли, а умело сократили биографию поэта, убрав лишнее, чтобы сделать царененавистником. На Пушкинской площади нырял в Арку, где располагалась американская прачечная (туда каждые две недели он сдавал дюжину грязных рубашек, чтобы по пути домой получить их чистыми, накрахмаленными, с бумажными бабочками), затем возвращался на Тверскую и прямиком спускался к Манежной площади – тогда она называлась площадью 50-летия Октября. Напротив Кремлевской стены поворачивал направо и мимо гостиницы «Националь» выходил на Большую Никитскую – тогда она называлась именем революционного демократа Герцена. Тут, по соседству с Консерваторией, во дворе Дома медработников обосновалась Редакция, где он заведовал отделом

писем и фелъетонов.

После развода первым побуждением Марка было идти своей дорогой. То есть, не связывать себя снова брачными узами, а попробовать, не бросая журналистику, заняться серьезным сочинительством. Но получалось плохо. Литературным упражнениям мешала неустроенность быта. Поначалу осаживал себя – Ахматова, мол, не беспокоила себя *бытом*. Отличалась *безбытностью* и чета Мандельштамов. С другой стороны, *домовитость* Пастернака настраивала на то, что Творцу нужен какой-то минимум комфорта, уюта, домашней стабильности. Попробовал жить на два дома: в пятницу оставался у бывшей сокурсницы, обитавшей неподалеку, на Олимпийском проспекте. Здесь не место входить в подробности отношений. Но один эпизод стоит того, чтобы описать его во всех деталях. В субботу утром собрались на авторскую читку повести «Созвездие Козлотура». Сбор намечался в квартире известной литераторши-диссидентки. Жила она в том же ХЛАМе. Сюда навещались Карлс с Эллендеей. Они привозили из Америки книжные новинки их легендарного издательства *Ардис*. Принимать участие в таких сборищах Марк опасался. К тому времени у него были способы удовлетворить интерес ко всему, что издавали Профферы. Он читал все, что попадало в Москву. И без особых рисков.

Собственно, приглашали подругу, а не его. Она ждала, что Марк вот-вот переберется к ней со Старолесной окончательно. И если от такого решения шанс отмотаться он сохранял, то от поездки никак. Ехали в ее «Волге». В конце Сущевско-го вала, даже в 1970-е забитого автотранспортом, следовало перестроиться, чтобы выехать к Нижней Масловке. От водителя требовались известные навыки. Она же после смерти мужа только осваивала вождение. В той поездке нервничала, поглядывая в зеркало заднего вида: нет ли хвоста. Он автомобиль терпел с трудом – его укачивало, боялся сквозняков, духоты, замкнутого пространства. Ко всему, черная «Волга», купленная в валютной *Березке*, капризничала. То у нее загрязнялся радиатор, то барахлил конденсатор, то садился аккумулятор... Впрочем, добрались без приключений. Для конспирации парковались в стороне, подальше от дома.

Подобные *читки-посиделки* на кухнях в те годы заполняли вакуум общественной жизни. Собирался круг еретиков. Сидели за большим столом. Говорили негромко. Пили чай с чем-то печеным, принесенным гостями. Многозначительно судачили о большой политике. Мелькали имена тех, кого вызвали на допрос, кого судили. Злословили в адрес отступников, клеймили власти, цензуру.

Наконец в прихожей появился автор отвергнутой повести. Жил он по соседству. Пришел без пальто, без шапки. Жгучий взгляд кавказца. Элегантный шарф через плечо. Едва поздоровался. Читать начал без вступления. Глухим, просту-

женным голосом. Монотонно, без единой паузы. Не отрывая глаз от рукописи. Сидевшие за столом затаили дыхание. В известных местах, намекавших на злободневное, перекидывались взглядами. Никто не шелохнулся. Читка продолжалась ровно час и закончилась без всякого послесловия. Искушенный автор оборвал чтение там, где затевалась интрига и хотелось продолжения. Аплодировали горячо. Но от приглашения к общему чаепитию автор уклонился. Сослался то ли на нездоровье, то ли на занятость. Здоровые и совсем не занятые восхвалители ощутили собственную ущербность.

– Это теперь, – заметил Марк в ответ на мое замечание о наивности читателя и странной элитарности обитателей *ХЛАМА*, – происходившее на кухне кажется нелепостью. Тогда же мало кто из нас задумывался о морали диссидентов-интеллектуалов. Нам казалось нормой взаимоисключающее – гонимость и оранжереяность элиты, искренне ненавидевшей власть и принимавшей от нее немыслимые блага, многомиллионные тиражи, баснословные гонорары, благоустроенные квартиры, машины, дачи, всё. В то время мы идеализировали Запад. Никто не думал, что свобода обнажит нашу бездарность.

Марк с пристрастием описывал то возвращение из *ХЛА-Ма*. В рассуждениях подруги сквозило чванство принадлежности к Салону, к высокому искусству. Мол, войти в тот круг непросто, осуждать его непозволительно, а попасть под подозрение в ненадежности, а то и в тайном фискальстве,

запросто. Смотри, конечно, предостерегала она, дело твое, но куда уместнее осмотрительность, чем осуждение и критиканство.

Светлым пятном от поездки на Аэропортовскую осталась дочь хозяйки квартиры. Вика знакомила приглашенных со знаменитой мамой-диссиденткой без придыханий. И даже с иронией. Чем подкупала, перетягивая внимание на себя. Она заканчивала аспирантуру, посмеивалась над собой, утверждая, что защищать-то нечего. Спустя несколько дней случайно пересеклись на улице Герцена. У арки под вывеской Редакции она самоедствовала: мол, диссертация давно сложилась в голове, но вот никак не заставит себя сесть написать. Предложение изложить тему приняла с восторгом. Зашли в Редакцию. И тут же под ее диктовку Марк отстучал на машинке пару страниц текста. Позже Вика утверждала, что именно тогда сделала решительный шаг к защите. Теперь она профессор, автор многих книг по стилистике русского языка. Первую же с дарственной подписью прислала ему в Лондон.

Вику упоминала и американка Эллендея, описывая столичные салоны 1970-х. Ее мемуары (себя она обозвала *литературной бабой*) щекотали самолюбие, рождая мысли о причастности. И не только в связи с Викой, но и с другими упомянутыми обитателями и гостями той квартиры в ХЛАМЕ. И, конечно, с именами тех, кому посчастливилось выбраться из *Той Страны*. Они вывезли в эмиграцию

все ухватки и нравы столичных салонов. Цинизм, подсижки, ревность, зависть, неумеренная похоть, снобизм, процветавший среди творцов *Той Страны*, коробили даже вне всякого нравственного максимализма. Взбираясь на Поэтический Олимп, Бродский предавал прежних друзей, оказывавших ему помощь и поддержку, когда его преследовал Режим. Не задумываясь, давал отрицательные отзывы, от которых зависело подписание издательством договора на перевод книги, получение места в университете. Понимал, конечно, что для собратьев по перу зачастую это была единственная *кормушка*, без которой трудно выжить в эмиграции. Но стандарты искусства превыше жизненных обстоятельств. Так ему казалось.

Профферовские мемуары цепляли тем, что мы самонадеянно примеряли судьбу Поэта к своей. А с какой стати? Бродский стал первым русским поэтом в эмиграции. Благодаря таланту и стечению обстоятельств. Воображение современников поражала история с получением Бродским *Нобелевки*. Ведь такой чести из русских не удостоился даже Набоков. После церемонии вручения, вспоминала Эллендея (ее пригласили в Стокгольм), гости по протоколу проследовали на бал. Бродский был удостоен высочайшей чести – он танцевал в паре со шведской королевой. Он, признанный первым Поэтом русской эмиграции, тот самый пятнадцатилетний еврейский мальчик, бросивший школу в Ленинграде и толком никогда и нигде не учившийся, открывал бал нобе-

левских лауреатов.

... Воспоминания *литературной бабы* вгоняли в оцепенение не от картины бала, а от совпадения: Бродский оставил двухлетнего сына в *Той Стране*. И Марк уехал от двухлетнего сына, решившись на эмиграцию.

Когда выбирался на побережье – от Лондона оно в часе с небольшим на пригородном поезде, – чувствовал себя ошалевшим от единоборства с неподдающейся главой. Прохладным июньским утром вышагивал вдоль морского берега по многокилометровому променаду Гастингса. Волны взбивали пену и выбрасывали ее на гальку. На ощупь эта воздушная желтоватая субстанция оказалась липким веществом. Обмыв ладонь в фонтане, присел на скамейку и подставил лицо выглянувшему из-за тучи солнцу. Закрыв глаза и подумал: все исчезло. Может быть, на самом деле ничего нет вне сознания? Может быть. Тогда можно считать иллюзией и ночное происшествие в гостинице.

Марк приезжал сюда, в Гастингс, до того как открыл для себя Фолкстон, каждые два-три месяца. Жил на третьем этаже тоже с окнами на море. У хозяина-поляка *проходил* как русский писатель... Все было, как всегда. Но минувшую ночь взорвал сигнал пожарной тревоги. Натянув брюки, прихватил компьютер. Уже спустился по лестнице. Но зачем-то вспомнил, что оставил в столе паспорт. Пожарные еще не прибыли. Вновь поднявшись на свой этаж, увидел, что в соседнем номере однорукий дежурный пробует затоптать тлеющие подушки. Ухватить одной рукой, чтобы вынести их, он не мог: на двери, перекрывающей лестничный пролет, стоя-

ла крепкая пружина. Оставив идею со спасением паспорта, кинулся на помощь, схватил одну тлеющую подушку и, придерживая дверь на пружине, пропустил дежурного с другой. Они уже были внизу, когда услышали вой пожарных сирен.

Шагая теперь по набережной, залитой полуденным солнцем (нравился ему этот литературный прием – рассказ во время прогулки вдоль морского берега), он заново переживал события ночи. Вспоминая девицу в фойе, дрожавшую от стресса, хотел одного – встретить смертный час без жалоб, без болей, без сожалений. Как бы устроить так, чтобы никто не подумал, что он цепляется за жизнь, что ему есть еще что-то сказать и он должен еще что-то успеть. Да все уже сказано. Но даже если и не сказано! Что из того? Вспомнилось замечание маститого литератора, разбиравшего после смерти незавершенные записи своего друга: *«Есть что-то необычное и притягательное в незаконченных произведениях»*. Никогда ничего подобного русскому автору в голову не придет. Типично английский строй мысли. Болезнь, смерть, возраст – все это столь же обыденное, как и неизбежное. В России же на похоронах стонут – вот, не успел дописать, достроить, долюбить. Какая глупость. Как это примитивно.

Вернувшись в номер, снова с усердием копался в главе про дом на Старолесной. Дребедень, приговоренная временем, должна была исчезнуть без следа. Нет, спустя тридцать лет, вспомнились имена. Александр Иосифович, Юлия Иосифовна, их сын. Может быть, потому, что минувшей но-

чью во время пожара видел завернутую в одеяло девушку: ее вывели из соседнего номера. Основательно подвыпив, она заснула с горящей сигаретой и теперь, сидя внизу, в вестибюле гостиницы, поняла: должна была задохнуться в дыму. Она выглядела такой же несчастной, как те неприкаянные старики-евреи из дома на Старолесной, потерявшие единственного сына, Жоржа. Он работал в реферативном академическом издании, писавшем об атомной промышленности.

За Жоржем промелькнула в памяти дивной красоты Хохлушка... А следом за Хохлушкой – первая жена Марка, с которой он прожил шесть лет. После развода никогда не встречались. Умерла где-то в Германии. У Марка остался графический портрет – подарок влюбленного в нее художника по имени Николай Иванович. При разводе она призналась, что изменяла ему с тем художником. Сказала, чтобы досадить. Ведь инициатором развода был он. И досадила. Помнил эту измену. Потому рисунок Николая Ивановича вставил в рамку и повесил на стену.

А вот еще одна фамилия из того дома: Горелик. Тут загадки не было. Лондонские хозяева, много лет сдававшие ему студию-домик, оказались Корелики. Она – детская писательница. Сочинять перестала после гибели сына. Он – архитектор. По его проекту в Москве построено новое здание английского посольства. Мальчиком в пять лет его вывезли из Вены в Лондон, когда случился аншлюс... И теперь в голове промелькнуло: ну, какие же вы Корелики? Вы – Горели-

ки. Вспомнился бассейн, принадлежавший газете «Правда». Каждое утро в семь часов вместе с Гореликом он бежал по пешеходному мостику, перекинутому через железнодорожную ветку между Белорусским и Савеловским вокзалами. В тот же час в бассейне появлялся член ЦК, главный редактор «Правды». Он плавал один на первой дорожке. И никто не смел ему мешать... Теперь можно было плавать в бассейне в Фарнборо. Для этого не надо было становиться членом ЦК.

Из дома на Старолесной *мозаикой* (ух, какая расхожая метафора) выплывали женские лики. Среди них жена Миши-аспиранта, блондинка немыслимой красоты, готова была *пролететь* свой этаж всякий раз, когда вместе случайно поднимались в лифте. Ему же хотелось *ошибиться*, когда оказывался в лифте с диктором Всесоюзного радио, женой Инженера. Она как будто не возражала. Но вдруг останавливала мысль – как потом встречаться с ее мужем, трепетавшим перед людьми творческих профессий? Зачем-то вспомнилась корректорша из той же газеты «Правда», которую однажды затащил к себе на девятый этаж. Из окна кабинета она увидела кремлевский купол, сбросила блузку, сняла лифчик, стянула юбку вместе с трусиками и, ухватившись за подоконник, весело приказала: «*Е... те*, а я буду смотреть на Кремль!»

Сказать по чести, я пробовал отговорить Марка от замысла «Романа Графомана». Сочинение, которое он задумал, убивало его. Если судить по числу копий и черновиков руко-

писи на антресолях, повествование долго не складывалось. Мучился Марк с сюжетом неимоверно. Не хватало воображения. Писал портреты своих однокурсников, родственников, любовниц, приятелей. Выходило плоско – ценил дружбу с однокашниками, ставшими известными, Салон любил, ценил, но высмеивал...

Спасался многоточием. Этим знаком препинания злоупотреблял. Многоточие укрывает недоговоренности. Оно же замещает слова, относящиеся к лексике, несовместимой с целомудрием. Одно из них приобрело магическое значение. Кумиром студентов книготоргового техникума был двадцатитрехлетний преподаватель политэкономии, выпускник экономического факультета Вильям. В середине 1950-х он советовал заняться экономикой туризма. Марк не внял. А между прочим, Вильям стал первым министром туризма в ельцинской России. В памяти остался вечер, когда, получив диплом товароведа книжной торговли, он оказался с Вильямом в одной компании. Вот тогда Марк услышал это слово «*еб...ть*». И от кого! От Вильяма! Не в *подворотне*, не от шпаны, не как ругательство, а из уст интеллектуала, умницы, любимого преподавателя, который косил под *стилягу*. С тех времен это слово зазвучало таинственной эротикой. Позже, с приобретением сексуального опыта, оно становилось тем привлекательнее, чем изысканнее была партнерша.

Марк и я еще не были готовы, чтобы работать в большой прессе, собрать материал на книгу, издаться. Марку повез-

ло. Его взяли в Журнал, о котором он напишет свой первый роман. Платили ему примерно так же, как защищавшим в те годы кандидатские диссертации и становившимся *завлабами*. Как это вышло, мы не понимали. Редакцию Журнала военизировали, но Марка почему-то не уволили. Он прошел аттестацию, и ему присвоили звание майора, а спустя пару лет подполковника. Хотя в армии Марк не служил ни дня. Строевым шагом ходить не умел. Устав нарушал на каждом шагу. Был левшой и честь отдавал левой рукой. Забывал отвечать на приветствия. Надевал военную форму лишь при объявлении строевого смотра. На работу в такие дни шел переулками. Однажды военный патруль словил его при переходе на улице Горького. Ему выговаривали за длинную стрижку и за отсутствие планки с наградами. Объяснение, что ничем, кроме знака выпускника МГУ, он, подполковник, никогда не награждался, вызывало недоверие. В Журнал прислали *телегу*. За погоны платили немалые деньги. А все равно еле-еле сводил концы с концами. Книжки, выплата паевого взноса, квартплата, помощь матери. Из стесненных обстоятельств не выбрался до самой эмиграции.

... Снимки, сделанные приятелем-фотокорреспондентом накануне отъезда. Портрет матери, попавший на выставку фотографий пожилых женщин. Ей восемьдесят. Благородная улыбка, живые глаза, гладко зачесанные волосы с пробором посередине. А вот он сам, усатый, с шевелюрой, едва тронутой сединой. В кителе с погонами подполковника. Фо-

то с сыном. Крепкий мальчуган сидит на плечах и держится за отцовы уши. Вот любительский снимок: они стоят на переходном мостике через ручеек в парке «Речной вокзал». Благодаря фотографиям в памяти всплыл последний на родине день рождения. Друзья пришли на пятидесятилетие. Сидели до полуночи. Куражились от обиды, что он уезжает, а они *остаются*. Никто никого не слушал. Перепились все за исключением хозяина. Прощались со слезами. Завлитоша идти не могла. Муж выносил ее на руках.

Понимал ли он сам тогда, в какую пропасть собирался прыгнуть? Нет, конечно. Из той настоящей реальности память не удержала почти ничего. Нет никакой возможности точно раскрутить, что происходило в действительности. Так, обрывки воспоминаний, из которых не складывалось все то, что творилось в душе. Конечно, жгло любопытство – каков он, Лондон? Распирало от мысли, что с прежней жизнью будет покончено. Терзали угрызения совести – двухлетний сын на попечении жены, развод с подтверждением, что никаких материальных претензий к нему нет. Как ни странно, легко принял понимание того, что со старухой-матерью прощается навсегда. До последнего дня, впрочем, над всем перечисленным довлел страх, что власти разгадают замысел – уехать и не вернуться. А разгадать не так уж трудно – сертификацию свидетельств о рождении, разводах, дипломов и прочего с переводом на английский производили государственные нотариальные конторы. Дураку ясно, конторы – под колпа-

ком Лубянки. Процессом же руководила Художница, будущая *заграничная* жена Марка, разъясняя, что все перечисленное нужно для получения нового гражданства.

Что оставалось в памяти из жизни на Старолесной и о чем вспоминал с сожалением как о потере? Котя Биржев, с которым дружили много лет, жил на первом этаже. Окна его кухни, выходявшие на фасад, никогда не занавешивались и светились допоздна. Женские силуэты, шумное застолье, лихая разнузданность привлекали внимание соседей. Двери в эту квартиру были всегда открыты. В середине 1980-х жизнь покатила с невиданной скоростью. От привычных норм не осталось и следа. Стремительно менялась общественная жизнь, люди, отношения между ними, всё. Всплыла в памяти дочь генерала, слывшая недотрогой. Она открыла дверь на звонок и в темной прихожей вдруг до крови прокусила ему губу. Излишне разборчивая подруга хозяйки, Люся, теперь позволяла *лапать* себя прилюдно, Света *дала* сантехнику – тот менял прокладки в кранах ванны, и у нее не оказалось пяти рублей *на чай*. Весело щебетала блондинистая кобылка Оля, *просаживавшая* доллары мужа, – он не вылезал из заграничных командировок. Откровенный флирт, беспорядочные связи, *ебля* чуть ли не на глазах мужей-жен быстро сделались чем-то обыденным. Тут и обсуждать нечего. Всех волновала годовая подписка на *толстые журналы*, освобождавшиеся от цензуры. Друг у друга вырывали только что вышедшие номера «Нового мира», «Звезды», «Невы»,

«Нашего современника», «Молодой гвардии», «Октября», «Книжного обозрения». За еженедельниками «Аргументы и факты», «Московские новости», «Огонек» бегали в ближайший киоск «Союзпечать», где с шести утра выстраивалась очередь. Бражничали на той кухне, именно начитавшись *свободной* прессы.

Среди гостей Коти Биржева были отказники, подавшие документы на выезд в Израиль, непризнанные литераторы, художники, перебивавшиеся с хлеба на воду, безработные музыканты. Позже стали приходить научные сотрудники, уволенные с работы, преподаватели, получавшие нищенскую зарплату, артисты, едва сводившие концы с концами. В разгар Перестройки на кухне появились *гешефтмахеры*. Досрочно освободившиеся из заключения за финансовые махинации, они искали места в новой жизни.

Всю эту публику привечала Ксения, жена Коти. Десять лет назад она приехала в Москву из Мариуполя. Диссидентствовала бесстрашно. Вопреки хрупкому здоровью отчаянно курила. А вот хмельного в рот не брала. Отличаясь благонаправлением, вдруг неожиданно согласилась стать женой только что разведенного Коти. Переехав в ЖСК, мгновенно вписалась в круг его знакомых. Она привлекала начитанностью и добрым характером. Из кухни не уходила – с удовольствием готовила, кормила, поила, утешала, никого не осуждала, не нападала, не обижала. Жадных жалела. Упавших оправдывала. Котя, опьяненный идеей свободы, становился разнузданным и

неосмотрительным. Но Ксения уже тогда заявляла, что пойдет за ним в тюрьму, на плаху, за границу, куда скажет... На фоне вседозволенности, захватившей общество, ее облик вызывал сочувствие и симпатию. Никакой порок ее не касался, хотя без крепкого слова в квартире Биржева *здрасти* не произносили. Кумиров создавали и тут же свергали. Не держаться никаких авторитетов, предубеждений, запретов; никого не стыдить, ничего не осуждать было единственным правилом для тех, кто появлялся на той кухне. Когда из недр кооперативного движения вдруг появился класс ухоженных девиц, Котя приводил их на эту кухню. Они мгновенно вписывались в сложившийся круг и становились *закадычными* подругами хозяйки. Котя их бросал, но они не исчезали и находили утешение у Ксении. Когда началось строительство партий, эти девицы стали секретаршами и соратницами Коти. Единомыслия не требовалось. Востребованной была личная преданность. Все на той кухне поголовно и беспрестанно курили. Сквозь сизый дым едва проглядывали лица.

На кухне зарождалось множество идей, воплощавшихся в реальность с поразительной легкостью. На кухне основали один из первых в Москве кооперативов, создали Благотворительный фонд для помощи бедным, открыли частную школу по изучению иностранных языков. Там же сочиняли и печатали уставы новых товариществ, биржи, партийной программы. На той кухне оформилась идея Партии экономической свободы, первого частного агентства «Новости» и пер-

вого частного журнала. Легко заработанные деньги кружили голову: Биржев тратил их весело, казался предприимчивым, открытым, доброжелательным. Политика у него легко смешивалась с экономикой, как жена с любовницами. Мужья до глубокой ночи звонили на ту кухню. Пробовали убедить супруг, что ночевать надо дома. Кончалось тем, чем кончалось – мужья брали такси. А приехав, оставались до утра. Ксения принимала всех. Со времен новоселья Котя оставался для домочадцев обаятельным и безотказным. Кому только он не помогал крепить книжные полки, менять прокладки в кранах, ставить замки. По первому звонку брал ящик с инструментами, гвоздями и шурупами и спешил на помощь. Никому не хотелось лишний раз звонить в ЖЭК, вызывать сантехника, ждать, давать на водку. У Коти был трос, чтобы пробить затор в трубах. Он первым выходил с лопатой на субботники, разбивал газоны, ставил заборчики, сажал деревья. Но то было в семидесятые. В середине же восьмидесятых потребовалось иное – предприимчивость, напор, мужество.

Котя оказался востребованным. Первые деньги заработал на продаже подержанных «Лад». Перегонял автомобили из Москвы на Кавказ и обратно. Вырученные средства вложил в покупку компьютеров. Для легализации денег организовал кооператив. Потом банк. Потом открыл биржу, агентство экономических новостей, инвесткомпанию, телекомпанию, наконец, объявил о создании Партии экономической свободы.

Котя быстро освоился с новой ролью, стал насмешливым, ироничным, иногда высокомерным. Он ушел в борьбу за новую жизнь, где не было никаких правил, никакой морали и все упиралось в деньги. Деньги давали власть. Марк растерялся. Котя это видел, и когда ему пришла идея первого частного журнала «Наши Компьютеры», он подвязал к ней нас с Марком. Котя назначил себя главным редактором. Я быстро сообразил, что к чему, и ушел в сторону. Марка же, прицепив к проекту, Котя вскоре подмывал не потому, что за все платил, а потому что не увидел в нем деловой хватки. Чтобы открыть журнал, нужна была *крыша*. Все издательства и типографии тогда оставались в руках государства. Путь один – дать взятку кому надо. Марк не умел, а Котя умел, но не хотел. Конечно, нашелся тот, кто и умел, и хотел. С Марком же стало ясно: оставаться в *Той Стране* ему не

следовало. Очень скоро Биржев станет неуловимым. Контакты с ним перепоручит Ксении. Мелочи, впрочем, следовало забыть. А помнить проводы в Шереметьево, отъезд, звонки из Москвы в первые недели, составление и подписание нужных бумаг. Потому что после падения империи отпала причина невозвращения в СССР. Туристическую въездную визу Марка юристы Home Office признали просроченной. Пришлось покинуть Англию. С шансом никогда не вернуться туда. Обиды должны были отступить. Но не отступали. Что ж, у памяти своя логика...

Тем временем сын Марка изучал алфавит по книгам Зигмунда Фрейда. Корешки книг входившего в моду знаменитого психоаналитика стояли как раз на уровне его роста. Мальчик подходил к шкафу, указывал пальцем на букву и спрашивал, как она называется. Приставал, чтобы привлечь к себе внимание. Мать скупала фрейдистскую литературу, издававшуюся после десятилетий запрета. Читала запоем, решив заняться психоанализом. Замуж больше не выходила. Никакой мужчина рядом с ней удержаться не мог. Кто же смирится, что главным в доме оставался сын. Тут она была тверда. В квартире Биржева появлялась едва ли не каждый день. Не для того, чтобы присоединиться к сидевшим на кухне, а чтобы оставить сына и самой выскочить в магазин, в поликлинику, в аптеку. Мальчик подружился с дочерью Биржева. Ксения усаживала детей за стол на прокуренной кухне, кормила, поила, разговаривала. Много ли мальчик усваивал из того,

о чем говорили тогда? Возможно, за столом осуждали тех, кто тосковал по коммунизму, кто сокрушался, что рушится Империя. Звучали имена какой-то Нины, отказавшейся поступиться *принципами*, Егора, повторявшего: «*Борис, ты не прав!*», самого Бориса, который все чаще оказывался прав, его оппонента – Отца Перестройки. Из всего услышанного мальчик, кажется, понимал пока только одно – все за тем столом жаждали *свободы*. Полной и сейчас.

Вдруг выяснилось: *свобода* не принесла счастья. Деда, отца матери, служившего в Генштабе, раньше срока выперли на пенсию. Развала Империи он не одобрял. Бабушку, руководившую поликлиникой, которая обслуживала кремлевскую номенклатуру, сместили из-за какой-то *гласности*, которая разрешила критику. До начала Перестройки она считалась неприкосновенной. Никто не мог уволить ее, несмотря на подметные и открытые письма. Правда, без работы она не осталась – возглавила другое медицинское учреждение, чуть поменьше. Но в семье считалось, что эта самая *свобода* и ей вышла боком.

Смещение с *хлебных* должностей деда и бабушки обернулось привязанностью к единственному внуку. Тому самому, рождению которого из-за отца они противостояли. Теперь внук стал смыслом жизни. На лето мальчик переезжал на дачу, прозванную «Шатурскими двориками». Вместе с дедом поправлял покосившийся забор, вскапывал огород, чинил крыльцо, сооружал пристройку. Заправски орудовал ло-

пато́й, молотком, другими инструментами. С дедом парился в бане, ходил на базар за рассадой, в лес по грибы. Конечно, он мог перенять у деда и страсть к футболу, и презрение к политике, и привычку не садиться за стол без бутылки водки. Но эти дедовы *слабости* его совсем не коснулись.

Смену привычного в доме на Старолесной сын тогда не осознавал. Хотя мог уже спросить маму при возвращении из «Шатурских двори́ков» о многом. Почему в подъезде исчез столик, а с ним и *лифтерша*. Почему не работает код на входной двери и в подъезд может зайти кто угодно. Почему с почтовых ящиков сорваны замки, а стены на лестничных клетках из белого перекрасили в темно-синий. Почему раньше в коридорах пахло пирогами, а в лифте – дорогими духами, а теперь тянуло затхлым. Почему подвал был залит водой, на чердаке поселились бездомные кошки, а в лифтах пахло мочой...

Знаки обнищания отложились в памяти сына так же ярко, как *Путч-91*, который вдруг обернулся праздником. Он пропада́л эти дни в квартире Биржевых. Котя оставался дома и играл с детьми. Вместе маршировали по коридору трехкомнатной квартиры и кричали: «*Смерть коммунистам, смерть фашистам!*» Вечерами ловили лондонскую программу какого-то Би-би-си «Русская служба». И когда вдруг Котя слышал голос отца, сказал: «Твой папа *молодец!*» Сын плохо понимал, почему папа молодец и зачем его голос *тут*, а сам он где-то *там*. То есть в Лондоне.

Что он мог понять, когда ему едва исполнилось три года? И кто мог ему правильно объяснить исчезновение отца? Только мама. Сын рос в мире ее интересов, выбранных ею игрушек, отобранных ею друзей, учился в школе, которую она выбрала. Она определяла не только его увлечения, но и его будущую профессию. Он, конечно, как и она, и бабушка, должен был стать врачом. Сын пытливо вглядывался в лица, как бы пробуя понять, с кем придется жить. Он хорошо учился, увлекся французским языком, освоил компьютер. В школе пришлось однажды постоять за себя. Если не по наущению матери, то при ее молчаливом попустительстве дал в морду однокласснику, обозвавшему его *жидом*. Ведь он носил фамилию отца. Это была прививка мужества, которой хватило позже, в институте, чтобы не испугаться и сходить *на стрелку*. То есть, показать сокурсникам, связанным с уголовниками, что он их не боится. Хотя, если быть честным, с готовностью защитить свое еврейство вышла осечка – когда учителя разбирались в том школьном конфликте, выяснилось, что обидчик, обозвавший жидом, тоже был наполовину евреем. Сын играл на пианино, легко освоил гитару. Позже у него обнаружится красивый баритон.

Музыкальный мир с рождением сына поворачивал время вспять. В квартире на Старолесной одно время стояло пианино. Первая жена не играл. Играла на нем ее мать. Теща, абсолютно глухая, наезжала сюда, чтобы помочь дочери постирать-приготовить. А потом садилась за пианино. Играла, пела и, когда Марк пробовал подпевать, смеялась: мол, у вас голос красивый, а слуха никакого.

Пианино, жена, глухая теща – все с разводом уплыло в небытие. Но Марк помнил свое музыкальное фиаско не в связи с тещей. 1957-й год. Одну из правительственных дач переоборудовали в студенческий Дом отдыха. Получить бесплатную путевку студенту техникума считалось пропуском в рай. Дом отдыха заполнили студенты Московской консерватории. Вечерами они собирались вокруг рояля в углу огромного холла. Играли, пели, обсуждали, импровизировали, сменяя друг друга за тем роялем. Незнакомый мир музыки. Чаще других звучало имя композитора Шумана. Наверное, исполняли его музыку. Подойти ближе Марку не было причин. Наблюдал издали...

В квартиру на Старолесной пианино вновь въехало с сыном. Или Марк что-то путал. Пианино у него было на другой квартире в Угловом переулке, рядом. Впрочем, самолюбие тешилось иным – в эмиграции, когда навещал сына в Геттин-

гене, первым подарком было пианино. Музыкальные способности сына вдохновляли Марка, а интерес к искусству, литературе, кино объединял их. Так хотелось думать. Сохранились любительские фильмы, отснятые ими в Турции, Испании, Франции, Москве. Кассета одного из таких фильмов под названием «Гамлет» стояла на полке в квартире на Старолесной. Со своей предысторией.

В один из приездов Марка сразу в трех московских театрах шел «Гамлет». Пошли вместе в «Сатирикон». Гамлета играл Костя Райкин. Вернувшись со спектакля, поставили своего «Гамлета». Заглавную роль играл сын, Гертруду – его мать, Офелию – подруга матери, девица Ленчик. Роль короля-дяди досталась отцу. Его Гамлет убивает. Чтобы снять фильм, пришлось купить кинокамеру. Сын не только выучил роль, выклеил декорацию замка, но и провел съемку, наложил музыку, смонтировал отснятое.

Во время летних каникул снимали «Раскольников» по Достоевскому. С кинокамерой поехали в Льюис, пригород Лондона. Хозяйка дома, русская эмигрантка, отправила своего английского мужа в гольф-клуб. Ей досталась роль матери Сонечки Мармеладовой. Сонечку играла ее дочь. Идеи рождались на ходу. Носились с камерой по всему дому. Снимали в кухне, в столовой, в спальне на втором этаже. Во время переодеваний хозяйка стояла за дверцей гардероба, на которой висело зеркало. Кое-что оказалось возможным *подсмотреть*. Она приняла свою *оплошность* весело. Все в до-

ме перевернули вверх дном. Муж появился во время ланча. Он не говорил по-русски. От совместного чая и десерта отказались. Хозяйка с дочерью провожали *съемочную группу* на станцию. А потом снимали «Мертвых душ». Приятельница гениально сыграла *Коробочку*, ее английский муж – *Плюшкина*. Роль *Ноздрева* играл сын. Себе Марк оставил роль *Манилова*. Тешился же, что фильмами прививал сыну вкус к чтению. Глупость. Но это было то немногое, что могло привязать его к нему.

...Спустя полтора десятилетия в Москве сын взял на себя похороны столетней бабушки. Она жила по соседству. Когда лежала без сознания, именно он вызвал Марка: мол, в смертный час умирающей важно почувствовать тепло родных рук. В семье знали о желании бабушки – предать тело сожжению в крематории. Тяжелая ссора Марка с набожной сестрой, нарушившей волю умершей, закончилась тем, что еврейская традиция взяла верх. Не дождавшись похорон, Марк с Химкинского кладбища отправился в аэропорт Шереметьево. И не только, чтобы дистанцироваться от нарушения воли матери. Главным, признавался он мне теперь, оставался страх – не выехать из России.

Эмиграция прочищает мозги лучше всякой пропаганды. И в большом, и в малом. Особенно в таком городе, как Лондон. Лично я, в отличие от Марка, в своей эмигрантской жизни придерживаюсь примитивного взгляда на то, что происходит в России. Вот слышу, правитель затевает *войнушку*, и

вижу, как прытко на эту затею отзываются его подданные: едут на танках в сторону Украины, летят в Сирию, хапают Крым. И я говорю себе: пускай одобряют, авось поумнеют, станут более человечными, душевными. Ничего подобного, конечно, не происходит. Меня с души воротит от этой возни.

Марк иначе относился к происходящему на бывшей родине. То он рассказывал мне о своем глубоком разочаровании в русском народе, о том, что уязвимость российских выборов видит не в нарушениях при подсчете голосов, а в отсутствии условий для свободного, объективного и независимого формирования мнения выборщика. А потом вдруг звонил и сообщал, что с либеральными взглядами на Россию покончил. Мол, страна обречена со своими голубыми мундирами и преданным народом. И миру нечего ждать, какой вирус там победит – имперский или европейский. Дело не в вирусе, а в Реформаторе с решимостью Петра Первого. Вот он появится, как Дэн в Китае, и силой введет реформы.

Выслушивая эту чепуху, я подыгрывал Марку. Но мы сходились во мнении, что Россия, как и ее предшественница *Империя зла*, отвратительна, прежде всего, презрением к человеческому достоинству. И Марк, оставив российскую тему, восхищался Лондоном: мол, накануне вышел из Студии с чемоданом на колесиках. Пешком, не спеша, за четверть часа достиг вокзала Кингс-Кросс. Спустился в метро, доехал до Хитроу, по туннелю один эскалатор, за ним – второй... И до самого места регистрации полета нигде и ни разу не под-

нял чемодан. Везде с тротуаров через бордюры устроены пологие сходы. Входы в здание вокзала, проходы к эскалаторам в метро, выходы на платформу к поездам – все без единого марша лестницы. Комфорт не для избранных, а для всех.

Котя Биржев провожал Марка в эмиграцию, а сам остался в *Той Стране*. Прошло без малого тридцать лет. Новый 2017-й год Биржев встречал в Калифорнии. Они, кажется, обменялись поздравлениями и паролями для связи по скайпу. Я изредка слушал выступления Биржева на радио «Эхо Москвы» и время от времени читал его тексты в Интернете. Однажды даже открыл книгу про *секс-мекс-пекс*, стоявшую на полке в Студии у Марка. Ни в какое сравнение она не шла с первым литературным опытом Биржева – книжкой карманного формата, изданной четверть века назад тиражом в сто тысяч экземпляров. Вот несколько тогдашних откликов: *«пощ ечина безнравственному обществу»*, *«образованный математик...загадочная фигура»*, *«его имя символизирует успех...»*

Мне уже не первый год казалось, что бедняга истощен бесполезной борьбой с авторитарной властью. Мне было жалко его, человека талантливого. Депутат Государственной Думы, которому прочили министерский портфель, он возглавлял Партию экономической свободы, создал биржу... И вдруг все оборвалось. Он превратился в оппозиционера-конспиролога. Ему всюду чудились заговоры.

Я вспомнил все эти подробности биографии Коти, потому что относился к нему с симпатией. Когда выложил их, Марк

вздохнул и посмотрел на меня с тоской:

– Может быть, теперь он раздумывает над тем, что сам сдуру обратил в ничто свою жизнь. Был на взлете, верил, что сможет занять видное место в политике, в бизнесе, наконец, в литературе. Поначалу все выходило как во сне: умно, ловко и остро. Так иногда бывает. А однажды проснешься и думаешь – жизнь почти прошла, и как же это я так обманулся, так обманился...

Марк позвонил другу по калифорнийскому времени где-то в полдень. Никто не ответил. Оставил бодрое новогоднее сообщение.

– Спустя две минуты, – с горечью вспоминал Марк, – по тому же скайпу появляется Котя, взъерошенный, со сна, в какой-то скромной комнате. Хватает двухлитровую бутылку кока-колы, пьет из горла. Говорит вяло, судорожно берет какие-то таблетки, пихает их в рот, запивает... На вопрос о проблемах со здоровьем отвечает кратко – это профилактика. Потом натягивает на голову капюшон... Ну, и потихоньку начинаем говорить.

– Как ты? Я слышал, пробуешь сделать проект «Радио»?

– Да нет, не получается.

– А где ты живешь? В гостинице?

– Нет, у знакомого в доме в Голливуде. Но это кончается. Надо уезжать.

– А когда ты возвращаешься в Москву?

– Девятнадцатого января.

– А ты не думал, чтобы не возвращаться? Ведь рискуешь!

– Риск, конечно, есть. Но тут жилье нужно. И работу найти не так просто... Деньги нужны, чтобы тут прожить...

Разговор на том свернулся. Спросил про дочь.

– Не знаю, – отвечает. – Давай поговорим, когда вернусь в Москву. – Я смеюсь, мол, что не очень получается поговорить, когда прослушивают. Он серьезно так: – Да, прослушивают. Я тебе pošлю интернетный адрес, где не прослушивают.

– Ну, – говорю, – отлично, а я тебе pošлю сейчас программу американского радио «Голос России» о моей последней книге. Правда, на английском. Но ты ж легко разберешься.

– Присылай, жду.

На этом мы закончили. А ночью получаю от него имэйл: «Здорово, хорошая программа. Поздравляю. А с переездом в Америку – мне, главное, просто не хочется. Очень многие расстроятся, если я слиняю. Сейчас все уезжают. Я не люблю делать, как все. Поэтому поборемся еще немного». На что я ему ответил: «Спасибо за поздравление. Что же касается переезда, я вижу ситуацию немножко иначе. Ты не любишь делать, как все, но ориентируешься на мнения многих. Я сомневаюсь, стоит ли подставляться, как Ходор, как Немец, возвращаясь... И что больше расстроит многих – что ты слиняешь или что тебя посадят или придушат? О народе же беспокоиться не стоит. Он очухается в исторической перспективе, возможно, когда-нибудь, при известных обсто-

ательствах. Но не сейчас. В Америку тебе не хочется – это мне понятно. А мягкая эмиграция? Скажем, Прибалтика? В Ригу сейчас приезжают как в советские годы. Замечательная Юрмала. Я на велосипеде до Калгари по песочку вдоль моря покатался в свое время. Чисто. Хорошо. Много чего передумал... Или Вильнюс. Сохраняется русская диаспора. Никто ее особо не трогает. Там проще найти свое место для какого-то вида оппозиции. Не борьбы. Ты не думал об этом? Я хочу сказать: приоритет все-таки в этой ситуации – безопасность. И найти ту страну, куда тебе захочется и где возможно быстро адаптироваться».

– Он ответил? – спросил я.

– Нет, похоже, не услышал.

Вопрос не в том, как прожить жизнь, а в идеалах. Стоило ли ее тратить на борьбу за счастье блудливого народа с призрачной надеждой его просветить? Или следовало сосредоточиться на совершенствовании собственной личности – становлении, познании, творчестве, созидании. И, главное, где провести эту жизнь – на задворках постсоветской империи или в свободном мире?

Марк, конечно, говорил об устремлениях и приоритетах, а не об удовлетворенности достигнутым. Мало чего утешительного сохранилось в его памяти о квартире на Старолесной улице, где перебивало так много народу. Почему-то он не забывал, что в той необыкновенной ауре чувствовал себя на обочине. Мыслил стандартно. Талантами не отличал-

ся. Философия, наука, изобразительное искусство, музыка – все, чего он так и не коснулся за годы учебы, заставляло его самого быть в некотором отдалении от людей по-настоящему образованных. Повода тесно сойтись с ними не находилось. Так, шапочное знакомство. Спустя тридцать лет, когда продавал квартиру на Старолесной, познакомился с покупателем. Новый владелец оказался племянником бывшего премьер-министра. Этаким шустрый малый с волосами, собранными в пучок и затянутыми ленточкой. Встретились, когда подписывали документы о купле-продаже. Произведет ли на него впечатление история квартиры, стены которой хранили столько тайн? Сомнительно.

Глава III

Эмиграция

Всякий раз, встречая и провожая отца в Шереметьево, приходилось убеждать его: «Никому тут ты не интересен! Тебя никто в России не знает!» И тем не менее видел, как отец паниковал. А ведь наезжал в ельцинскую Москву. Тогда лишь посмеивались над страхами перед паспортным контролем. Позже – над обывателями, причислявшими себя к племени диссидентов, над предчувствием, что страна вновь откатывается в... свое прошлое. Мое третье десятилетие пролетело мгновенно. Закончил школу с золотой медалью. Поступил в Медицинскую академию. Получил диплом доктора. Домашние учителя – носители языка – помогли овладеть французским, английским, немецким. В музыкальную школу не ходил, но освоил азы вокала и игры на пианино. Обучался на дому. Брал частные уроки у студентов консерватории. Этого оказалось достаточно для импровизаций. Так что выбирался в Европу с заделом.

Основные вехи жизни отца скрыты в архивных бумагах, фотографиях, письмах, записных книжках. Наверное, моим будущим детям я уже не смогу толково рассказать о посиделках на «диссидентских кухнях». На кухнях распускали языки, говорили, что думали. Исповедовались, возмущались,

ругали власть. Читали рукописи, самиздат, тамиздат. Поколение отца говорить без оглядки так и не привыкло. В нулевые я слышал в поезде, как глубокий старик, рассказывая за рюмкой про минувшую войну, косился на открытую дверь купе, приглядывался к проходящим изредка по вагону, а потом попросил закрыть дверь. Сказал, что сексотов⁶ и сейчас полно... Как выяснилось из его рассказа, ему было чего бояться: прошел войну, а в конце ее за длинный язык отправился в ГУЛАГ. На десять лет... Мне захотелось тут написать дурацкое – «диссидентские кухни могли быть приметой моего детства». Но это было бы неправдой. О посадках рассказывал отец. И мне только кажется, что я был там участником. Но представляю ли я, как реально жилось в стране тотального контроля? Что делалось с душой, жаждавшей свобод? Где граница уступок, молчаливого согласия и трусости, осторожности, предательства? Время и страна, в которой жил отец, имели свои критерии. Гораздо более отличные, чем принято считать. Философ, с которым я познакомился через отца, скрывался за фразой «Советы мне просто надоели». Потому эмигрировал. Спустя годы навещал страны бывшей Империи. Публика ломилась на его философские семинары, а он дурачил ее. В мо-

⁶ Сексот – секретный сотрудник, осведомитель, позже стукач. По мнению редактора, требуется расшифровать, что это такое. А надо ли расшифровывать? Отец говорил мне, что пишет роман, который предполагает поэтику спрятанных значений. Пускай читательское сознание настраивается на таинственные аббревиатуры, на косвенные высказывания.

ей памяти осталось название одного семинара: «Место, из которого я думаю». Почему место, из которого я думаю, а не место, в котором я думаю? Потому что, пояснял профессор, из подчеркивает экстенсивность думания, его экспликативность, разомкнутость, интенциональность. Мудрено, однако. Но, может быть, это к вопросу о моем недостаточном философском образовании.

Марку теперь нравится изображать отъезд из *Той Страны* как побег. Уезжал невозвращенцем. Ранним декабрьским утром 1988-го года Биржев на своем автомобиле подвез его к зданию международного аэропорта Шереметьево. Вместе подошли к регистрации багажа, распрощались. У стойки «Аэрофлот» Марк предъявил билет, получил посадочный талон, двинулся к зоне паспортного контроля, встал в очередь. Да, мелькнула мысль, сейчас его разоблачат. Догадываются о намерении не возвращаться. Но когда протягивал паспорт, стянул с лица угодливую улыбку. Угрюмая девица в форме младшего лейтенанта пограничной службы мельком взглянула на него, потом на фотографию, потом снова на него. Свою работу она делала на автомате. Стоявший у окошка ее не интересовал. Все внимание – на документ и какой-то список. Однако минуты, пока сверяла что-то и помечала, запомнились тоскливой безысходностью. В голове вертелось что-то вроде *тварь дрожащая*. Еще запомнился звук штампа на длинной ручке, кажется, насквозь пробившего страницу. В следующее мгновение девица протянула паспорт. Турникет открылся. Зона контроля за спиной.

Перед глазами призывные рекламы «Duty free». Туда даже не стал входить. В кармане несколько рублей на чашку чая. Так и стоял в длинном узком коридоре, пока не объяви-

ли: «Пассажиров, вылетающих в Лондон рейсом девятьсот семьдесят пять, просим пройти на посадку к выходу номер пять». В накопителе опять волновался... В салоне самолета, застегивая ремни, решил: все, теперь меня не достать никаким ОВИРам. И тут же одернул себя: ведь рейс выполняет компания «Аэрофлот», которая в любой момент может отправить его назад. Теперь кажется странным, как можно было не догадываться, что Режим издыхает. Но тогда об этом наверняка знали самые осведомленные и предусмотрительные из охранителей. А им уже было мало дела до тех, кто решил покинуть родину. Они искали пути, как *унести ноги* самим, упрятать деньги, вывезти близких.

Полуденное солнце светило над Лондоном, когда в иллюминаторе лайнера, накренившегося для разворота, выплыли Биг-Бен, Вестминстер, очертания Темзы. Тут только треволнения отступили и сменились злорадным ликованием. В 1967-м выезжал в Болгарию, а в 1968-м – в Чехословакию. Беседы по поездкам в Брно и Прагу с *кадровиком* Кокошкиным обернулись отказом в выдаче загранпаспорта на двадцать лет. А тут в ОВИР зашел с приглашением Художницы в Англию. И никаких вопросов: кто приглашает, зачем, по какому поводу. Получай загранпаспорт и вали куда хочешь. В обменном пункте выстоял очередь. Выдали двести фунтов. В девальвирующих рублях английские стерлинги стоили десятки тысяч. Эта валюта занимала в портмоне места гораздо меньше, чем болгарские левы, чехословацкие кроны и

даже доллары. Но все житейские волнения отступили, когда он спускался по трапу, когда в цепочке пассажиров двигался к паспортному контролю аэропорта Хитроу, когда протянул чиновнику паспорт с приглашением и тот без единого вопроса поставил штамп, разрешавший въезд в страну. У лент-транспортёра пробовал разобрать написанное, но кроме слова *visa* ничего не понял. Багаж пришел непривычно быстро.

Одной рукой прихватил пудовый чемодан. На колесиках (великое изобретение) мало у кого был. В другой руке – огромный сверток в полиэтилене. Объемную сумку повесил на плечо. В последний момент сообразил – идти надо «зеленым коридором». За дверным проемом чуть поодаль увидел длинный массивный стол, открытый чемодан и растерянного пассажира. Промелькнула мысль – ого, кого-то таможенник выловил. Его не остановили. Еще одна дверь, и вот он в зале ожидания. Вдоль прохода, огороженного турникетами, – встречающие. Некоторые держали перед собой таблички на русском, английском, арабском... Подумал: тут бы с одним кейсом, а не в шляпе-пальто, увешанный барахлом по самое некуда. Но что поделаешь. Уезжал навсегда. Брал то, что можно. И даже больше. В свертке лежали плотно скрученные шинель и китель офицера Советской Армии. По плану Биржева все должны забрать и вручить какую-то сумму, которая поможет продержаться первое время, пока не найдет работу. Знал бы, что за свертком никто не явится, что инте-

рес к атрибутике разваливающейся армии Империи такой же миф, как востребованность журналиста из советских масс-медиа, как мнимая начитанность и информированность его, гомо советикус, как претензии носителя русского языка на преподавание в Лондонском университете или на штатную должность корреспондента «Русской Службы» Би-би-си, как вера, что английский язык можно осилить в три месяца, что он придет сам. Зато никакой цензуры нет. Публикуй что хочешь. Мифы будут разрушаться один за другим. Запад опрокинет мировоззрение. Пока же ничего такого ему в голову не приходило.

Художница вынырнула из толпы встречавших неожиданно. Как она появилась в его жизни? А очень просто. Мы с Марком заглянули на выставку работ Кандинского в московском Доме литераторов. И он, конечно, *клинул* на красные колготки, длинные ноги и юбку, две полы которой скрепляла невиданных размеров булавка. Несколько раз они сходились у выставленных картин. Она пришла с тетей и без всякого ломанья отправила ее домой одну. Вышли из Дома литераторов втроем, но Марк меня быстренько отшил. Я свернул налево, а они направо, в сторону Никитских ворот. Потом он рассказывал всякую чепуху, из которой я понял одно – ему хотелось заняться *булавкой*, а она говорила о серьезном – о затянувшейся *перестройке*, о том, что решила уезжать, что собирается к брату в Париж – там надеется устроить выставку своих картин. А пока вот пишет *шедевры*. Мама из Ака-

демгородка присылает холсты, краски, кисти.

Обменялись номерами телефонов. Звонить Художнице не торопился. Он давно оправился от любовных неудач, которые его преследовали в отрочестве и даже в студенческие годы. Кажется, я знал про Марка даже больше, чем хотел бы. Он рассказывал мне про кунцевскую пышногрудую блондинку, отказавшую ему, шестнадцатилетнему, хотя с другими ходила в сараи за баракком; про кызылскую кондукторшу автобуса – ему уже было девятнадцать, и он пялился на ту девку каждое утро по пути на работу... В двадцать два года пережил роман с дочерью кинооператора: письмами она морочила ему голову и сдалась много лет спустя. За те неудачи, впрочем, отыгрывался в университете. Философиня привезла к себе на квартиру в районе *Ебүтово*. Буднично разделась. Потом отвела на кухню, накормила и выпроводила на остановку троллейбуса до того, как из школы вернулась младшая сестренка. Мол, та уж матери обязательно скажет. Случка с хозяйкой квартиры на Аэропортовской помнилась, наоборот, изыском. Сначала она ошарашила его громкой джазовой музыкой. Затем придушила «Шанелью № 5». Флакон стоял на туалетном столике у огромной софы. Подставляя пышный зад, она поминутно окропляла себя духами и томно ведала, что на лестничной площадке – кооперативная квартира престарелого *Гимноведа*: что он перебрался сюда с молодой женой. А выше над ней квартира Драматурга-Историка. Его навешают безгрудые манекенщицы. Успеху в той случке

почему-то мешал именно комфорт. Последний учебный отпуск в четыре недели предоставлялся нам, *вечерникам*, для написания дипломной работы. Дни напролет мы проводили в библиотеке на Моховой. Не думаю, что только лишь из-за экономии времени Марк отказался от поездок в *ХЛАМ* к той девице и предпочел соития с сокурсницей на подоконнике. В вечерних сумерках с видом на Кремль. Перед закрытием библиотеки. В пустынном коридоре на третьем этаже...

«Зачем это все хранится в памяти и лезет в рукопись?» – кокетничая, спрашивал меня теперь Марк. Наверное, хотел залечить раны прежней жизни. Потому в моем лице он выбрал конфидента. Оставалось подчиниться.

Художница же вела себя правильно. Хоть и позвонила первой и на свидание пришла в той же юбке, но заняться *булавкой* повода не давала. Мол, людям искусства свойственно абстрагироваться, а не западать на частности. Впрочем, ближе к зиме приехала к нему в Красную Пахру на пустующую писательскую дачу. Взяла с собой мольберт, подрамник, холст. В первый вечер отбирала для натюрмортов предметы. На кухне нашла бронзовую ступку с пестиком, в спальне на подоконнике – старинную вазу, на чердаке – огромную зеленую бутыль. До полуночи ставила композицию, переставляла и заменяла предметы, искала фон, крепила светильники, экспериментировала со светом, тенями. И пока не начинало светать, стояла у мольберта. За неделю написала несколько чудных натюрмортов. Наблюдения, как работала

Художница, пригодились позже, в эмиграции, когда принялся за сочинение о знаменитом коллекционере театральной живописи.

К весне созданные в Пахре *шедевры*, как она их называла, регистрировала в Министерстве культуры СССР, получала разрешение на вывоз за границу. А летом выставилась в одной из парижских галерей. Ничего не купили. Из Парижа перебралась в Лондон, куда позвала школьная подруга. Интерес к современным русским живописцам уже шел на спад. Но одна работа продалась на престижном аукционе, и она дала ему почувствовать причастность: написала, мол, не зря помогал перевозить картины на Белорусский вокзал к поезду Москва – Париж, когда уезжала. Он ухмылялся. С ее отъездом никакие сигналы всерьез не принимал. Попрощались без всяких драм. Она знала, что он женат, что у него сын. Но вдруг дала о себе знать. Видимо, приняла его за того, за кого он себя выдавал. Писала. Звонила. А спустя полгода прилетела в Москву и сказала, что пришлет приглашение в Англию. Но и тогда не верил. Обещают все, кто уезжает навсегда. В числе провожавших стоял на платформе. А когда поезд Москва – Лондон отходил от платформы, увидел ее слезы. Вслед послал открытку «*Плакса!*»

Выбраться когда-либо в Лондон – об этом всерьез Марк не думал. Даже когда получил приглашение. Не только потому, что много лет ему не выдавали загранпаспорт. Была другая причина. Оставлять в голодной Москве 1980-х двух-

летнего сына он не собирался. К Художнице испытывал чувство благодарности, не более. Она же *сманивала* его, убеждая, что эмиграция – единственный шанс вытащить сына из Советского Союза. Искренне врала, что у нее есть работа, квартира, друзья на Би-би-си, которые помогут. Присылала открытки, письма, передавала с оказиями приветы, фотографии, сувениры. В ее воображении он был *диссидентствующий* литератор. Нафантазировала себе. Разубедить ее никто бы не взялся. Бесполезно. Она *влюбилась*.

Теперь они вместе рассматривали штамп в паспорте: ему разрешено пребывание в Англии на шесть месяцев. Не на месяц, не на три – это было во власти чиновника, только что державшего в руках его паспорт. А на целых шесть месяцев. Как она и спланировала. Меньше нельзя. Никак нельзя. Иначе игра не стоила свеч. За шесть месяцев можно адаптироваться, выучить язык, устроиться на работу – это она внушала себе и ему, когда он уходил из Редакции, разводился, собирал публикации. Рукопись его вывезла сама. Верила – он быстро отыщет место в новой жизни. И потянет за собой ее.

– Сейчас увидишь Лондон, – радовалась она, когда с тележкой, груженной багажом, спускались по тоннелю в метро – Не могу поверить, что ты все-таки выбрался.

Из Хитроу ехали по *Пикадилли лайн*. В полупустом вагоне. Как-то вдруг поезд вынырнул из тоннеля. В окнах замелькали зеленые поля «Кью Гарденс». Стоял солнечный день. Оглянувшись, увидел – пассажиры сидели в пиджаках, а кое-

кто и в майках. На нем же был твидовый костюм «тройка», рубашка с галстуком, пальто. И вовсе не из-за того, что в декабрьской Москве уже выпал снег. Одевался *под лондонца*. Уверен был – так тут принято. Теперь никакая вентиляция не спасала.

На станции Leicester Square вышли из вагона. Перетаскивались с багажом на другую ветку, проехали одну остановку и оказались на вокзале Charing Cross. Том самом, на который когда-то прибыли из Европы Ленин с Крупской. О чем Художница рассказывала уже в пригородном поезде. Слушал вполуха. Вдруг настигла тоскливая мысль – жил в центре, а тут из окна электрички мелькают обшарпанные дома, неприглядные строения, склады. Понятно, едут в *жопу* Лондона. Впрочем, глотнув свежего воздуха из открытой рамы, одернул себя. Ничего. Приспособлюсь. Выберусь. В пригороде долго не задержусь.

Знал ли он, что ему предстояло? Первое место работы – бензоколонка с ночным магазином, где пробовал освоить кассу-компьютер. Ночное дежурство. В магазин зашел *черный*, прошел за прилавок, открыл кассу, выгреб всю наличность, по дороге к выходу набрал чипсов, сэндвичей, все, что попадалось под руку, и, не произнося ни слова, исчез... Неблагополучный район. Тут такое случается. К утру приехал хозяин. Сказал: «Никаких проблем. Только дверь на ночь закрывай. И впускай клиентов аккуратно». Даже в кассу не заглянул, чтобы деньги пересчитать. И магазин *на учет*

закрывать не стал.

Вскоре вместо бензоколонки Марк подрядился разносить рекламные журналы. К шести утра по понедельникам и средам отправлялся в Челси, Кэнсингтон, Уимблдон или в Хэмстэд. Там, у станций метро, в непосредственной близости к престижным районам, где жила состоятельная публика, разносили журналы. Автофургон сваливал тираж прямо на тротуар. Бригадир-работодатель раздавал почтовые сумки. Их набивали иллюстрированными журналами. Поднять такую сумку требовало усилий. Но на плечах тяжесть не чувствовалась. Журналы рекламировали мебель, одежду, обувь, дизайн садов, выращивание цветов... Все, что могло заинтересовать. Бесплатное издание просовывалось в почтовые щели входных дверей. Нередко под злобный лай собак. Иногда протестовали и хозяева. Работал с напарником, знавшим район. *Окучив* одну улицу, возвращались к метро за следующей порцией журналов. К десяти утра все кончено. Ноги гудят, поясницу ломит. Но к концу недели работодатель вручит наличными восемьдесят-девять фунтов. Их хватит на пропитание. Ничего подобного ему и в голову не приходило, когда ехал из Хитроу с Художницей. Представить себе не мог, что его эмиграция обернется такой реальностью. Хотя, спустя несколько лет, оказавшись в одном из тех районов, где разносил журнал, вдруг встретил бывшего *коллегу* с почтовой сумкой за плечами. И растерялся – кивнуть или пройти мимо, чтобы не ранить человека, продолжавшего жить все

той же разноской. Он шел к студенту давать частный урок, а в голове вертелось – ведь мог так и остаться среди разносчиков журналов.

Но то было позже. А пока они ехали к друзьям Художницы. Она везла Марка из Хитроу сюда, в третью зону, в их двухэтажный дом с садом и гаражом. Едва познакомив, оставила на Хозяина – англичанина, говорящего по-русски. Сама отправилась за ключом квартиры, которую сняла накануне. Тот первый разговор помнился в деталях. Вопрос о том, как, мол, там в Москве, придал ему уверенность. Смущение и усталость отступили. Говорил без остановки. О *перестройке*. О том, что она зашла в тупик. О *нереформируемости* Режима. И потому он тут. Ему казалось, что сообщал что-то неизвестное. Был уверен, что рассеивает иллюзии Запада касательно новой России. Скажи ему кто-то в тот момент, что тутошняя публика гораздо информированнее московского Салона и что *надуваться* от важности нет повода, ни за что бы не поверил. Хозяин же виду не подавал. Вежливо слушал. Гость сидел у камина, тянул из бокала что-то спиртное со льдом и *вещал* с вдохновением. Ему и в голову не пришло, что можно пройти в сад, передохнуть, сделать паузу. Хотел выглядеть значительным. Или быть вежливым? Сам не понимал. Но говорил до самых сумерек. Пока за ним не приехали. На машине хозяйки. Уложили багаж и повезли в Brockley на Menor Avenue.

Первый адрес в Лондоне. Со временем их наберется пол-

тора десятка. За каждым – своя история. Но переселения и перемены не очень-то отучали от желания *вещать* или без умолку балагурить, выносить безапелляционные приговоры. Эта привычка въелась, как истасканные штампы, как весь хлам эпохи, с которым соотечественники, наряду с завистью, злобой, ревностью и неприятием друг друга, прибудут в свои *америки*. И станут перебрасываться (сначала письмами, потом по электронной почте) анекдотами, цитатами, банальностями типа *рожать детей – дело нехитрое, новости не могут быть второй свежести, время собирать камни, родители не молодеют...* Морализаторство не помешает сажать последних на вэлфер, забирать у них деньги, вырученные от продажи кооперативных квартир в Москве. Купив себе жилье в Манхэттене, других престижных районах, они будут навещать престарелых родичей, собачиться с ними, обмениваясь, впрочем, все теми же новостями *второй свежести*.

Никакого особого героизма в самом факте отъезда из *Той Страны* не было. Без всякого объявления со стороны власти шлагбаум был открыт. Так было и с Марком. Впервые за двадцать невыездных лет он сразу получил заграничный паспорт, оформил туристические визы в Англию и Францию и приготовился выкатиться в Лондон. Но теперь время от времени его заносило. И он примеривал свою судьбу эмигранта к судьбе великих.

– Я изначально считал, – надувался он передо мной, поджав под себя ногу, – что творцы, как и революционеры, – пу-

таники, которые превыше всего ценят свое призвание. Призванию они не изменяют. Оно ценнее убеждений, самой жизни. Призвание управляет поступками. Цветаева вернулась из эмиграции, следуя какой-то своей логике, в сталинскую депортацию и оказалась в петле. Ахматова терпела тиранию и создавала «Реквием». Булгаков в глубокой тайне писал «Мастера» и просил Тирана отпустить. Пастернак пробовал ладить с вождем. Но Фридрих Горенштейн, уехав в эмиграцию, дожил до семидесяти лет и на вопрос, почему не хочет навестить Россию, отвечал – я не мазохист. Его ценил Юрий Трифонов. С той же судьбой, что и Фридрих. Отца Трифопова расстреляли в 1937-м, рос сиротой. А на эмиграцию не решался. Мол, тут, в Стране Советов, его читатель. Умер от раздвоения в пятьдесят с небольшим. О читателе же беспокоиться не следует. Настоящая литература рано или поздно найдет его. Страшнее жить в несвободе.

– Да уж, Моисей сорок лет проветривал мозги своего народа в пустыне, – удрученно вздохнул я.

– Именно, – подхватил простодушно Марк. – Уже можно, бросай все, складывай рукописи в чемодан. Но то мы, творцы! Соседи мои по квартире на Старолесной и те ночами укладываются спать с вопросом под подушкой: уезжать – не уезжать из России. Так и останутся жить с памятью о посиделках на кухне Биржева. О кухне в сигаретном дыму, где с утра до глубокой ночи сидели за столом с *пахитоской* в зубах, говорили по телефону, читали, выпивали, создавали

кумиров, чтобы тут же их разрушить. Дым и больше ничего! Впрочем, там, на той кухне, делалась история. Это только кажется, что она творится на небесах. Или выдающимися личностями. На самом деле все люди как люди. Главное, не припоздниться с рождением.

– Пожалуй, ты прав. Творцы – если не дьяволы, то точно не ангелы. Все без исключения. Дружить с ними, встречаться, переписываться, спорить, верить не стоит. Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева... эгоистичны, амбициозны, ненадежны. Объяснять их поступки логикой невозможно. И могли в свое время уехать на Запад, остаться в свободной Европе. Но тянуло домой, возвращались в несвободу, вот в чем дело. Хорошо, оставим их могилы в покое. А что означает – припоздниться с рождением?

– Это значит, – кинулся Марк в расставленные сети, – понять, что чувствует поколение молодых людей, не заставшее ни холодной войны (не говоря уж об Отечественной), ни оттепели, ни застоя, ни перестройки, сразу став свидетелем разложения Империи зла. Понять, как это отложилось на их взглядах, почему до сих пор так устойчиво *советское* мировоззрение.

Я мог бы поддержать этот пустой разговор о мировоззрении, которое мучило Марка своей устойчивостью. Мог бы снова заметить, что в современной России общественная жизнь так и не возникла, но с разрешением личной собственности появилось понятие «частная жизнь». Но зачем смущать человека, и без того сбитого с ног эмиграцией. Начинать ему пришлось с азов. Первый урок, который он выучил: частная жизнь никак не смешивается с общественной. Потому, к примеру, дни рождения даже выдающихся людей тут мало кого интересуют. Да и потенциальные юбиляры относятся к факту собственного появления на свет с иронией. Конечно, поздравляют, отмечают. Идут в паб, в театр, приглашают в ресторан. Но никто не планирует банкетов на сотню-две приглашенных, не мечтает напиться, наесться. Российские традиции тут выглядят дикостью. Чего же удивляться, что Марк, столкнувшись с иным, принялся описывать свой опыт. К счастью, он отставил в сторону пошлые прибаутки времен застолий в квартире на Старолесной. Читать такое было бы нестерпимо. А вот то, что родился в День Сталинской Конституции, могло представить интерес.

Пятое декабря тогдашними властями было объявлено выходным днем. Декабрьский ветер полощет вывешенные на улице кумачи. Красный стяг развивается и на ветхом бара-

ке, где они жили после войны в Москве. Холодное пасмурное утро. Вылезать из-под одеяла не хочется. Хотя давно надо, накинув пальто, бежать в туалет. По коридору направо, с крыльца опять направо вдоль барака к обрыву над Москвой-рекой. Будка с незапирающимися дверями «М» и «Ж». Присесть можно только орлом. Все кругом залито, загажено. Нет, терпеть до последнего. За печкой гремят противни. На них румяные пирожки с капустой и яйцом, только что выбравшиеся из духовки. Теперь туда отправится в специальной посудине *чуде* круглый рулет с маком. На нем выведена корицей цифра 5! Запахи щекочут нос. Отец проснулся: слышен шелест газеты. Ее почтальон приносит в семь. Над кроватью черная тарелка радио. Бравурные марши и мелодии в честь праздника чередуются выпусками последних известий. Их читает Левитан. Фанерная перегородка отделяет комнату соседей, где свои звуки – кастрюль, ведер, горшков, голосов. Из-за занавеси в спальню, перехваченной по бокам входного проема бечевками, выглядывают глаз и ус вождя. Его портрет на всю первую страницу «Правды». Наконец, сложив газету, отец зовет именинника. Тут время замереть. Но подсказывает сестра, стягивает одеяло и вякает: «Не притворяйся, что спишь!» Перебравшись к отцу, увидел на одеяле выскобленную доску. На ней обычно раскатывается тесто. Из-под подушки появляется продолговатая коробочка с фишками. На крышке прочитал: «Домино». После праздничного завтрака сели играть вчетвером. Он в паре с

отцом, сестра – с матерью. Ближе к лету эту игру в семье станут презирать. Во дворе взрослые «забивали козла» до позднего вечера. Шум, ругань, мат. И все из-за домино! Так считалось в семье. Детям запрещалось даже приближаться к игравшим. Но вспоминался именно тот день рождения. Первый подарок. Азартно стучал черными фишками с белыми точечками, кричал «рыба» и объявлял проигравших козлами.

Спустя годы эмиграции, кажется, в канун семидесятилетия, Марк размышлял о днях рождения со своим однолетней, известным английским писателем. Не такое уж это событие – семьдесят! А ведь в России иначе. В Москве тебя непременно чествовали бы. Посмеялись и забыли о том разговоре.

– Но как же... – сказал я, сбитый с толку их арифметикой, – помню, ты огорчился, что мы забыли тебя поздравить, а спустя несколько дней получил датские стихи нашей тогдашней приятельницы.

– Да, вот эти стихи. Я запомнил их: *Прости меня, о друг мой Марик,/ Среди безумной карусели,/ Опять декабрь, как пьяный мельник,/ Смолол и прокутил неделю./ И это значит день рожденья/ Мы прозевали безнадежно,/ И все пустые извиненья/ Необязательны и ложны./ Да! Свиньи мы! И признавая/ Свою вину, не ждем прощенья...*

Прочитав стихотворные строчки, Марк едва слышно вздохнул и заключил:

– У нас нет возможности как изменить прошлое, так и остановить время. В размышлениях же о прошедшей жизни и грядущей смерти вылезла периодизация по три четверти *века*. Марк мог бы, как его приятель, выдать биографию неподкупного журналиста, борца за правду. В американской телепрограмме рассказывать о подвигах: был на афганской войне, написал честный репортаж о ней; в конце 1980-х писал об охранниках Тирана. Рукопись прятали. Лубянка охотилась, но так и не нашла издательство, где ее отпечатали. Что было фактом биографии, что вымыслом – правды не отыскать. Да и что бы эта правда изменила? Ничего. Посмеивался над воспоминаниями *а ля я был на афганской*, а сердце щемило от другого. Вытащил из багажа памяти трамвайные поездки в Москве пятидесятых.

Маршрут *Аннушки* начинался на кругу под названием «Тестовская», пролегал по мощеному Шмитовскому проезду, поворачивал на Красную Пресню и мимо Зоопарка шел к Белорусскому вокзалу. Затем направо, на другой конец Москвы – через Шаболовку к Загородному проезду. Там находился книготорговый техникум. После занятий той же *Аннушкой* – домой. Садился во второй вагон. От конца до конца два с лишним часа. Хочется есть всегда. Даже впадая в дрему, просыпался от чувства голода. Попытки читать чередовал бессмысленным взглядом в окно трамвая. Маршрут в обратном порядке: Белорусская, Пресня, Шмитовский. Остановка «Новые дома». Киоск «Союзпечать», где сидит

мать. Можно бы сойти. Но еда – только дома! Наконец, конечная остановка «Тестовская». На кругу трамвай замедляет скорость. Кондукторша с билетной катушкой на груди перемещается в первый вагон. Значит, с последней ступеньки можно соскочить на ходу. Риск, конечно. Но лихачить, все рассчитав, это тест. Правда, не зимой, когда легко поскользнуться на снегу.

Трамвайные поездки в холодных вагонах без дверей, с открытыми площадками сплелись с унижительным безденежьем. Позже пустят троллейбусы. Но жизнь мало изменится. Чувством голода отмечены и годы учебы в университете. Во время перерыва между лекциями *скидываются*, чтобы купить бутылку, пойти в Филипповскую булочную, в кафе «Арарат», поехать на дачу к похотливой *сокурснице*... Про нее говорили, что она *дает в ж...*, *берет в рот!* Тогда, в начале шестидесятых, такое звучало запредельно привлекательно. Позорно для женщины и желанно для мужчин... Но он не может присоединиться. В кармане пять копеек на трамвайно-троллейбусный билет. Нет даже на простую булочку, которая утолит голод. Он работает в студенческой редакции. Платят гроши. Почти все приходится отдавать родителям, с которыми живет. Утром завтрак, вечером ужин. Но как-то надо прожить день. Ко всему прочему раздрает *желание*. Во сне, наяву, в троллейбусе, в трамвае, на лекции, если рядом девица. Познакомился с *филологиней*. Увязался проводить. Добирались до Мневников на троллейбусе номер

двенадцать, в направлении Серебряного Бора. От остановки шли к ее дому по безлюдной аллее парка. Она взобралась на скамейку. На высоких каблуках, в мини-юбке. Махнула подолом так, что оголилась:

– Смотри, на мне все заграничное, включая бикини. Зачем ты мне, если у тебя нет денег даже на *это!* Я не о *n-де*, а о колготах. Они стоят полстипендии. Ну, пойдем мы сейчас с тобой в кусты. Ты ж вмиг порвешь их. Так что езжай домой, милый, собирай мне на белье. Спасибо, что проводил.

Сгорал от стыда, когда возвращался. Возбуждало и унижало это *собирай мне на белье*. Сказано не шлюхой, благонаправной девицей.

Мучительный период жизни. Лучше не вспоминать. И детям рассказывать про годы нечеловеческой нужды – пустое! Это их ничему не научит. Повзрослевшие, они не будут нуждаться ни в воспоминаниях, ни, тем более, в патронаже. Дочь с ее английским менталитетом начнет понимать его далеко не сразу. Сын за несколько лет своей эмиграции отскочит от него далеко – сделает карьеру, сначала научную, потом менеджерскую, примет гийюр, поменяет имя, религию, профессию, всё.

Впрочем, не из-за детей, не из-за депрессии, мучившей годами, не из-за одиночества в эмиграции Марк кидался в воспоминания о прожитом. Амбиции сочинителя не оставляли его ни на минуту. Амбиции толкали присматриваться, прислушиваться, приноживаться, менять взгляды, привыч-

ки, окружение. Тут ощущалось отличие западной интеллектуальной элиты от российской.

Скажем, определить Гитлера как чемпиона по ненависти – таким читательскую аудиторию не завлечешь. Если же поставить вопрос иначе – являлся ли Гитлер разрушителем, тут открывалось, что за ним числятся и созидательные программы. Серьезные исследования показывают, что Гитлер был увлечен не только подготовкой к войне, уничтожением евреев. Его занимали, например, взаимоотношения бизнеса и государства. Говоря сегодняшним языком, он строил смешанную экономику. Он считал, что государство вправе требовать от частного предпринимателя, чтобы тот работал в интересах народа. Если собственник этого не понимает, государство может забрать производство себе. Фюрер комбинировал, а не выбирал окончательно между тем и тем. Он не мирился с монополистами, стимулировал частные производства со стороны государства. Показательна история с созданием «народного автомобиля». Когда частные фирмы не поверили Гитлеру, что идея дешевого автомобиля принесет им достаточно прибыли, Гитлер создал государственную фирму. У нацистов был здравый проект, где присутствовала и национализация, и пособия, и регулируемый со стороны государства рынок. Гитлер говорил о модернизации, о моторизации, обращал внимание на достижения американской промышленности...

Очень даже созидательный план, при реализации которо-

го Германия могла бы построить экономику не хуже американской. Но фюрер оказался в плену ненависти. Фюрер был чемпион по части ненависти. Он хорошо изучил науку ненависти. Он понимал в ней толк. Он был виртуозом ненависти. По словам его биографа Вернера Мазера, «он ненавидел всё беспощадно».

Нам с Марком очень повезло. Мы провели несколько лет под ферулой К. на *бибисишной* «Русской службе». К. заведовал там тематической программой. Не я, а Марк с ним сдружился. В начале нашей эмиграции мы ходили в имперский Bush House, тогдашнюю резиденцию радиопрограмм Би-биси. Там К. давал нам заработать. Придумывал тему. Днем мы писали тексты. Он слегка правил нас, брал в студию и записывал. К вечеру программа шла на Москву.

... Распивать спиртное с начальством не являлось обязателькой. Но если такое случалось, мы не возражали. Тем более что К., в то время выпивавший крепко, никогда не терял голову. Рассказчик он был искушенный, изысканный и представлял собой редкий случай эмигранта-аутсайдера, раз и навсегда отделившего себя от *солженицыных-бродских*. Он отдавал им должное, а вот восхвалителей, их на дух не переносил. И все приговаривал: как я ненавижу этих идиотов! Бездарны, глупы и сколько самомнения. Кончились попойки внезапно – прямо с работы К. увезли на «скорой». Операция на сердце. Шунтирование. После чего он «завязал». Марк встречался с К. уже в пабе. За одной-единственной

пинтой пива. Темы их разговоров мы нередко продолжали в наших междусобойчиках. К примеру, замеченная К. семантическая ошибка во фразе Маркса «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» приводила к забавному выводу: ведь неотступно бродит то, что уже умерло. А коммунизм в Европе во времена Маркса еще и не родился.

Как сочинителю Марку не очень удавалось вписаться в чуждую русскому словеснику среду. Когда принялся за «Роман Графомана», уже видел особенности культурных традиций Запада. Пробовал избегать избитое, затасканное, заезженное. Мотал на ус, что искусство не терпит повторения. В жизни можно рассказать тот же самый анекдот трижды и, трижды вызвав смех, оказаться душою общества. В искусстве подобное именуется *клише*. По мере сил он старался выбраться из этих стандартов. Но иногда заигрывался. На выставке русского искусства, посвященной столетию революции 1917 года, в Королевской академии живописи, отыскав картину Исаака Бродского «Ленин и демонстрация», вспомнил про Андрея Синявского. Тот прогуливался под руку с Пушкиным, с Гоголем.

– А чем я хуже, – глумился Марк, – снял виртуально со стены этот портрет Ильича и прошелся с ним по залам. Чтоб вождь мог, спустя век, посмотреть на себя, вспомнить годы эмиграции в Лондоне, революцию и закидать галошами картины Кандинского, Малевича, Петрова-Водкина, Родченко...

– Почему галошами? – засмеялся я.

– Ну, известно, вождь питал отвращение ко всяким *измам*, предпочитая графику, служащую делу Революции. Две трети картин из Третьяковки и Русского музея на эту выставку в Лондон вообще бы не попали. А история с галошами из гламурной биографии вождя. Златокудрый Володя-херувимчик, живой мальчик, отличник, шалун, правдолюб, как оказалось, любил пулять галошами из прихожей в гостей, сидевших в столовой. И, возможно, наказанный, а возможно, и нет, из-за угла с восторгом наблюдал, как гости пробуют отыскать свою пару галош, как кряхтят, пыхтят и чертыхаются в его адрес.

Марка тут явно занесло. Ленин не обязан был разбираться в *измах*. Другое дело, вождь не должен был преследовать художников, как, в свою очередь, и Хрущев в московском Манеже. Вон, Гарри Трумэн, американский президент, презирал модерн. Предпочитал Гольбейнов и Рембрандтов. И частенько отправлялся в Национальную галерею. Там однажды оставил запись: «Приятно посмотреть на совершенство и потом вспомнить халтурное дурацкое современное искусство». И только. Хрущев же отправился в Манеж, чтобы громить абстрактную живопись, обзывать художников...

– Не скажи, – проворчал Марк, – мы жили в стране, где кидаться в оппонентов галошами считалось нормой. Книги Ленина об экономике – «Развитие капитализма в России», о политике – «Что делать?», о философии – «Материализм

и эмпириокритицизм» — сплошное «швыряние галошами» в противников.

— Любопытно, а не вспомнишь ли ты, когда стал прозревать и с Лениным, и со всем, что вокруг тебя? Если так, без вранья. Не в шесть же лет, когда учился читать?

— Наверное, что-то начинал понимать в пионерской организации, когда избрали звеньевым. Хотел этого. В седьмом классе при вступлении в комсомол назначили политинформатором. Мне нравилась эта роль. Теперь даже не знаю, растлевало ли такое в четырнадцать лет или толкало к прозрению...

— В четырнадцать лет? Не поздновато ли?

— Да будет тебе ерничать. Можно подумать, — здраво возразил Марк, — нас не возмущало подобное при Горбачеве, во время трансляции сессий в Кремле. На наших глазах председательствующие пробовали манипулировать залом, делегатами, проговаривая быстро-быстро: кто против, кто воздержался, принято единогласно. Сахаров первым взорвал ту ситуацию, кажется.

Я дал Марку тогда повод распушить хвост. Понятно, мы везли в эмиграцию не только свои взгляды, но и привычки. Его первая лондонская квартира, снятая в Brokley, в десяти минутах езды от центрального вокзала Charing Cross на пригородном поезде, очень скоро обрела московский вид. Сюда съезжалось множество всякого народа. Быт был скудный. Тарелок, рюмок, приборов, стульев не хватало. Застолье без

изысков. Водка, картошка, селедка, колбаса. Зато на полках книги. Привезенные из Москвы. Им нет цены. Московская литераторша хвастала: «В советские времена Набоков был запрещен! А тут в антикварном на Арбате вижу „Дар“. Спросила: „Сколько?“ „Много! У вас столько нет!“. Сняла кольцо, которое носила еще бабушка, и забрала». Нового в ее рассказе ничего не было. В эмиграцию прибывали со своим кодексом. Пренебрежение материальным. Жизнь – это духовное. Идеалы свободы превыше всего! Всякий оппонент – обманутый пропагандой человек. Как говорил один из них: «Вы – мой персональный проект, и я не прощу себе, если не сумею Вас переубедить. Я несу ответственность за либералов, которые остались в России...» Ну, и прочая чушь как свидетельство преувеличения собственного значения в этом мире.

В Brokley приезжали на поезде, на такси, кое-кто на своих автомобилях. Литераторша с мужем-англичанином, переводчиком, специалистом по сентиментализму. Челсийский бизнесмен, делавший состояние на *рисковом капитале*. Консультант, служивший в «Сотбисе». Крошка Майкл, программист, эрудит, поражавший знаниями решительно во всех областях. Пешком приходили в ту квартиру жившие неподалеку знаменитый московский Философ, только-только перебравшаяся из Москвы его дочь-киновед, сын Композитора, он же скульптор, поэт и художник в одном лице.

Как и в Москве на Старолесной, в том самом Brokley сидели на кухне. Говорили о литературе, философии, живописи,

театре. Меньше – о политике. Большинство в те времена перебивалось случайными заработками. Включая хозяев. Там, на кухне, появилась идея преподавать. От безденежья. Художница осталась без работы. Маленькая фирма, проектировавшая стеклянные оранжереи-веранды, уволила ее, узнав о беременности. Так что на день рождения Марка никого не звали. Решили пропустить, утаить. И вдруг в шесть вечера звонок в дверь. Пришли гости – кто с чем. Сын Композитора и его английская жена принесли в кастрюле макароны с мясом. Философ – бутылку водки «Столичная», консервы – кильку в томатном соусе и частичку. Литераторша с мужем выгребли из холодильника все, что было, соорудили салат оливье, напекли пирогов. Бизнесмен из Челси привез торт, Консультант с Холланд Парк – коньяк и виски. Из Израиля прилетела сестра Крошки Майкла, художница, со знаменитым писателем. Из Гарварда подросла названная Падчерица Марка с американским мужем-профессором. Опоздав к последнему поезду, они спали на полу. Никогда не было так хорошо, как в тот вечер.

Первая квартира осталась в памяти из-за всеобщей неустроенности. Литераторша не сдала экзамен, подтверждающий квалификацию доктора. Ее муж, служивший в издательстве, потерял работу. Челсийский бизнесмен в очередной раз разводился. Консультанта-искусствоведа Ноте Office пытался выдворить из Англии за нарушение паспортного режима. Крошка Майкл боролся в суде с налоговиками,

насчитавшими ему сорок тысяч фунтов, из-за чего решил уехать в Австралию. Марк искал частные уроки, чтобы прокормиться. Но постепенно все как-то утряслось, урегулировалось, уложилось. Осталось же в памяти, что малочисленную тогда эмигрантскую публику конца 1980-х объединял именно интерес к литературе, искусству, музыке, театру.

Спустя четверть века в Интернете вдруг вылезла информация о том самом Brokley – местные скульпторы рядом со станцией соорудили из мокрого песка огромного кота, поедающего брокколи. Так они протестовали против строительства в этом районе дорогого жилья.

Первым обжился Челсийский бизнесмен. Продал Студию и на той же улице купил просторную квартиру, вскоре прозванную Салоном. По выходным дням приглашал к себе художников, журналистов, актеров, коллекционеров, диссидентствующих поэтов, писателей. Неординарная публика разбавлялась блядами, преимущественно русскими. Они наезжали из Москвы и Питера. За ними тянулся шлейф искусных вымогательниц благ. На глазах у возлюбленных с ними приключались странные происшествия – то и дело рвались колготки, ломался подпиленный каблук, вдруг кончалась парфюмерия, исчезала сумочка с деньгами. Они первыми переходили на органические продукты, свежавыжатые соки, розовое шампанское. Расплачивались ухажеры. Запросы барышень росли вместе с доходами их обожателей. Это был настоящий импровизированный театр. Ничего удивительного, что в Салоне вдруг решили сыграть пьесу на английском, сочиненную Литераторшей. Распределили роли. На репетиции съезжались после рабочего дня. Кончалось все за полночь изысканным ужином. Разъезжались к утру. Кажется, до премьеры так и не дотянули. Бросили эту затею.

В челсийском Салоне, как и в московских, востребованными являлись статусы. Ими фарцевали. Того же Марка Хозяин Салона представлял корреспондентом калифорнийско-

го русскоязычного альманаха. За десять лет он опубликовал там, наверное, добрую сотню репортажей и очерков о Лондоне. Марка принимали за успешного журналиста. Неважно, что за корреспонденцию раз в две недели он получал чек в пятьдесят долларов. Этого никто не знал. А вот прийти в Салон с экземпляром альманаха, где только что опубликована его статья – тут появлялся повод быть принятым элитой, то есть, сойтись с Лектором, Эссеистом, Минималистом, Структуралистом, с самим Господом Богом! Публика та отличалась экстравагантностью. Лектор утверждал, что *леди* может быть сильным философом, но это чрезвычайно маловероятно. Эссеист ненавидел слово *интеллигент*. Структуралист призывал бить палкой по голове за произнесение слова *духовность*... Минималист глядел на мир с прищуром и ругал Структуралиста, писавшего сознательно примитивные партитуры. Стены гостиной Салона были увешаны картинами Шемякина. Хозяин скупал их оптом и в розницу. Под картинами накрывались столы с закусками. Гости приветствовали друг друга изящно, громко, развязно, небрежно, но никогда естественно. Сойдясь, большинство из них не знало, что сказать друг другу, перебрасывались затасканными шуточками и, конечно, анекдотами. А между тем тут был почти весь цвет лондонской эмиграции. Литераторша с извиняющейся улыбкой – она так часто врала, что потеряла свое выражение лица. *Галерейщица* – она обожала *тусоваться* и была вездесуща. Безработный английский актер,

не теряющий оптимизма, наш Философ, его приятель Консультант-искусствовед, много всякого народа, в том числе и случайного... Бывал в Салоне и я. Меня туда таскал вечно настороженный Марк со своей боязнью попасть впросак.

Салон просуществовал недолго и распался. Но поразительно, что спустя какое-то время его участники – и Консультант-искусствовед, и Философ, и Литераторша, вдруг засветятся яркими кометами русской эмиграции той волны. Художник выберется из тени своего знаменитого отца-Композитора и упрячет его в свою. Структуралист станет мэтром и получит звание профессора консерватории. Марк издаст с десяток романов и будет называть себя писателем. Книжки станут обсуждать на презентациях и читательских конференциях. Картины и скульптуры выставлять на персональных выставках. Московский бомонд ринется на лекции Философа. Всех будут интервьюировать, приглашать на телевидение, выдвигать на престижные премии. Доверительным тоном в узком кругу Консультант-коллекционер, собиратель картин художников Парижской школы, вдруг сообщит о намерении издавать новый эмигрантский журнал. В это предприятие он вложит часть своего состояния. Под редакцию снимет престижное помещение в центре Лондона. Обставит редакторский кабинет антикварной мебелью. Отпустит усы, заведет трость с позолоченным набалдашником, коллекцию трубок.

Запахи дорогого душистого табака, чая из «Фортнум энд

Мэйсон», респектабельная обстановка, вспоминал Марк, поражали воображение авторов, приглашенных в Редакцию. Иллюстрированное издание под названием «Звон» собрало цвет все той же оппозиционной публицистики. Вступительная статья редактора указывала на связь издания с *колокольным* брендом времен Герцена. Пишущую братию редактор «Звона» соблазнит обещаниями щедрых гонораров, отыщет супермодного дизайнера, сделает макет с учетом последних достижений полиграфии. Бешеные деньги, затраченные на выпуск «Звона», громкие имена на его страницах взорвут эмигрантские круги... В московских салонах заужжали было о новом независимом заграничном издании. Но после нескольких номеров выяснилось, что хозяин «Звона» вовсе не помышлял встать в оппозицию к Режиму метрополии. Шеф-редактор хотел издавать такой журнал, который можно продавать в России. Гибкостью, терпимостью издания к Режиму – этим ключом он надеялся приоткрыть дверь на рынок метрополии. «Реклама, агенты – важнее злободневности!», «Наше направление – выжить!» – эти лозунги на корню прикончили издание. Подписная кампания провалилась. Рекламодатели не объявились. Надежды на самоокупаемость испарились. Пачки нереализованных номеров оседали на складе. Деньги кончились, и «Звон» тихо умолк.

Марк был свидетелем взлета и падения «Звона». Несколько публикаций сделали его востребованным преподавателем русской словесности и даже послужили поводом для знаком-

ства с... опальным Олигархом. Ходили слухи, что тот готов был спасти погибавшее издание, сделать «Звон» рупором эмиграции. Кажется, несостоявшийся спонсор даже подготовил статью «Как я спасу Россию». Но «Звон» был коммерческим проектом, а Олигарх упирал на политику. Потому, видимо, отступил.

Тут позволю себе опередить Марка с вопросом: дружил ли Олигарх с Философом? Нет, конечно. Другьями Философа считали себя многие. С подачи самого Философа. Едва ли не всех куда младше себя по возрасту он называл *старик* или *старуха*. Настаивал, чтобы его звали по имени и на «ты». Со всяким едва знакомым готов был выпить по рюмке. Марк с Философом бражничали регулярно, когда жили по соседству. Я присоединялся и время от времени тоже бывал у него в кабинете на факультете восточных языков. Философ дарил нам свои книги, подписывал их. Посмеивался – мол, все равно читать не станете. Сохранилась видеозапись. Философ в кухне разделявает селедку на газете. С Марком они пьют водку, разговаривают о каком-то приятеле – отличнике. Философ в запале выбрасывает фразу: «Ну, понимаешь, старик, он был отличник, всегда, во всем, он из *n... ды* вылез отличником». Подросток-сын снимал на камеру...

Но все равно, назвать Философа своим приятелем и мне, и Марку было бы преувеличением. Незадолго до смерти он с женой добрался до Тибета, впервые взял в руки мобильный телефон и с «крыши мира» поприветствовал своих зна-

комых. Нам с Марком эсэмэску не послал, но рассказывал о том факте. После смерти Философа, впрочем, кое-кто оспаривал его значимость и называл шулером. Критики утверждали: мол, вовремя умер, потому что близок был к разоблачению. Сам Философ лукавил, когда слышал комплименты. И даже протестовал: «Гениальный лектор? Да нет, гениальность – чепуха! Умение держать мысль, опыт, обаяние, везение с аудиторией, которая понимает, о чем я говорю». Это все! О гениальности после смерти мужа будет говорить вдова. Она учредит Фонд его имени. Как обстояло дело на самом деле, сказать не берусь. Ссылаться на ударенную по голове московскую *паству* чувством полной собственной невострепованности я бы не стал. Эту паству он *шельмовал*, потому что она была готова к тому. С ней можно было делать что угодно. Личные же воспоминания Марка о Философе вдруг выразились в одном эпизоде, случившемся много лет назад. Они вместе приехали в Отдел распределения жилья выбирать Марку бесплатную квартиру:

– Старик, понятия потерянного времени нет, – говорил Философ, уже сидя в очереди на прием к чиновнице. – Как и понятия «чужое место». Если ты здесь, со мной, значит, это и есть твое место. И не надо меня благодарить. Я тебе еще не признавался, а теперь слушай, старик. Я посоветовал твоей тогдашней жене разойтись с тобой, когда она пришла ко мне с вопросом, что ей делать. А представь себе, если бы вы оставались до сих пор вместе.

После того разговора жена выдавила Марка из дома, жизнь закружилась так, что всех отбрасывало все дальше и дальше друг от друга. Слухи временами сближали. Но отношения угасали. Круг редел. Кто-то переехал. Кто-то отправился в мир иной. С Художником до самой его скоропостижной смерти оставались в приятелях. Обсуждали переезд его в другую Студию и план внедрения в один из журналов конструктивистского направления. Не случилось.

Философ же, оставив дом прежней жене, с новой женой регулярно наезжали в страны распавшейся Империи. К приездам готовили презентации, выступления в телевизионных программах, на радио «Эхо». Лекции Философа скатывались к *глумлению* над публикой. А вот власть Философ шадил, утверждая, что проблемы не в ней. Во всяком случае, активно не поддерживал тех, кто обрушивался на нее. Посмеивался над богомольем верховной российской власти в православных соборах. Но сам чудил своим публичным обращением в буддизм.

Новая жена, бойко фарцуя его именем, создала атмосферу востребованности. В последние годы его жизни она решала, кого допустить к нему, а кого нет. Играли оба с дурой-публикой, которая принимала Философа всерьез. Несколькими отказами в интервью, игнорированием презентаций, разборчивостью в отношениях с издателями, рекламой телевизионных программ удалось поднять шум вокруг имени Философа. Он стал популярной фигурой. В Москве выходила одна

книга за другой. После скоропостижной смерти Философа жена издала там все его труды. Их оказалось не так много. Куда меньше, чем почитателей, публиковавших воспоминания. Марк держался в стороне. Он припомнил лишь, как решил одолеть «Меру вещей» Бодрийяра, затем принялся за «Общество потребления». Потом почитал статью Философа про какого-то современника, заканчивавшуюся: «А не послать ли нам в жопу Гуссерля?» Ну, вместе за бутылкой и послали. Не только Гуссерля, а и философию в целом.

Четверть века мы с Марком жили в Лондоне. Однажды кинулись сравнивать русских и британцев. И стали выяснять, что это за популяция «русский британец». И какой же взгляд на Запад они выработали? Прежде всего, никакого загнивания в Англии не увидели. С такими традициями и связями эта страна, похоже, будет «разлагаться» еще сто лет. Не увидели и двуличия или двойных стандартов. А вот умение англичан держать лицо поражает. В самых трудных ситуациях. Не заметили и пренебрежения к эмигрантам. Хотя русские повод давали. Мы тоже. Решив перебраться в Лондон, Марк мог и язык выучить, и традиции осмыслить, и к образу жизни приспособиться. Осваивался же по ходу дела. И тут грех не сказать о терпимости к эмигрантам. В чем мы оба не раз убеждались, регулярно навещая Париж. Там на улице человеку, не говорящему по-французски, посложнее, чем иностранцу в Лондоне.

Почуял ли я себя, спрашивал Марк, в эмиграции *примаком*, приживальщиком? Ни разу. Никогда. Нигде. Наоборот. К России и к русским на бытовом уровне относятся с сочувствием и пониманием. Мы, куда менее терпимые, слышим постоянно: у вас, русских, такая трудная история; вы так много пережили. Но если кто-то из англичан и позволяет себе иронию, насмешку, то сначала по отношению к себе. А

потом уж к ближнему:

– Мы, англичане, лошадиное мясо не едим, потому что лошади умные животные и убивать их не следует, – утверждал один из слушателей Марка. – И рыбная ловля на озерах у нас спорт, а не промысел. Поймал – отпусти.

– Значит, англичане более гуманны, чем те, кто ест конину и тащит улов домой на уху?

– Трудно сказать, как на самом деле, но мы, англичане, так думаем...

Подобный ход мыслей типичный. Вы можете обнаружить его, если заведете разговор о патриотизме (нет, мы патриоты только за границей), об английской прессе (доверять ей не следует, но читать надо), о выборах (голосовать – обязанность, даже если ваша партия заведомый аутсайдер: иначе не сложится оппозиция).

Марк вспомнил, как много лет назад по пьянке директор колледжа предложил ему прочитать цикл лекций о политических лидерах Советского Союза и России. Он вставил этот цикл в годовой проспект, а затем дал рекламное объявление в два престижных журнала («The Spectator» и «New Statesman»). И тут выяснилось, что он должен читать лекции на английском. Марк бушевал (мол, директор же слышал мой английский – на той пьянке мы частенько обращались к переводчице). Как он мог меня подставить? Кинулся с этим вопросом к Философу с опытом лектора-профессора в Лондонском университете. А тот, посмеиваясь, заявил, что толь-

ко так и надо учить язык. Он начисто отмел идею отменить цикл, помог выстроить его, дал пару практических советов. На лекциях ни одной фразы правильно Марк не произнес. Но выяснилось, что слушатели следили не за его ошибками в английском, а за мыслью, за тем, что и как думает русский журналист. Это им было интересно. Они спорили, дискутировали и объяснили: мы ходим к вам на лекции не ради того, чтобы услышать безупречный английский. Вы иностранец, а для нас этот язык родной.

...За пару лет до смерти Марк часто ездил в Фарнборо, пригород Лондона, где спасался от hay-fever (сенной лихорадки). В то утро отправился на прогулку в дубово-сосновый лес. Тропинка в парке имени королевы Елизаветы вела к мини-пруду. Его вырыли местные жители много лет назад. Охранная табличка сообщает о лягушках, поселившихся тут. Ливень начался неожиданно. Бежать не имело смысла. Наоборот, понял – чем медленнее идти, тем надежнее укрытие под большим зонтом. Но замшевые кеды, купленные в Гастингсе, намокли мгновенно. Тропинка, слегка присыпанная галькой, на глазах разбухла и напомнила шелепихинскую дорогу от трамвайного круга. По ней полчаса жители Шелепихи шлепали и в дождь, и в слякоть, и зимой, и летом. Она вела прямо к барaku на берегу Москвы-реки... К концу 1950-х поле напротив барака застроили *хрущобами*. Поле принадлежало совхозу «Смычка». Это сейчас «смычка» звучит как «случка» или «сучка». Тогда такие шутки не

допускались. На вывеске значилось – совхоз «Смычка» им. В. И. Ленина.

Идиотская параллель – тропа в Фарнборо и дорога на Шелепиху – могла стать началом романа: *«На дворе тысяча девятьсот пятьдесят восьмой. Из ГУЛАГа выбираются миллионы невинно осужденных. Страну ждут короткие годы оттепели. А за ними Режим опять будет закручивать гайки...»* Но вовремя спохватился. Нет, нет, пусть так начинается тот же Искусствовед. Слишком претенциозно. Он поищет что-нибудь более скромное. Например, так.

...Факультет журналистики полувековой давности. В памяти у нас с Максом остались два самых успешных Сокурсника. Уже перебравшись в Лондон, мы прочитали *новомировскую* аннотацию на монографию одного из них, Алексея Бура, посвященную истории газеты «Таймс». Бур оказался в Лондоне в 1970-е, сразу после окончания университета. Жил там много лет и... покончил с собой. Удавился от несчастной любви. Красавицу-брюнетку, работавшую библиотекарем на факультете, Бур увез с собой в Лондон. Любил ее и пиво. Когда она ушла, осталось пиво. Днем писал статьи, а вечерами сидел в пабе. Толстел и страдал. В Москве бывал наездами. Считался счастливчиком. Дальше пускай рассказывает Макс.

В нулевые годы нового столетия мы с Марком как-то заглянули к декану журфака, Ясеню Засурскому. Тот только повторял вопрос: «Не понимаю, зачем Алеша сделал это?»

Оставлю вопрос без ответа и перейду ко второму персонажу. Из всего потока только его заприметили центральные издания. Взяли в штат, печатали. Но тут поползли слухи, будто на корпоративных пьянках он всякий раз рвался «бить морду» главным редакторам, прочим начальникам. Словом, личность неоднозначная. Блестящий журналист, изгнанный из Редакции за статью о Герцене – статья об эмигранте, который предпочел свободу, а не родину в 1862-м, вышла день в день высылки Солженицына из России. Происки дьявола изгнали его из журналистики. Он ушел в аспирантуру, защитил докторскую, профессорствовал. Писал книги. А спустя полстолетия они с Марком сошлись в клубе «Сноб».

Вопроса, чью сторону взять, не было. И дело не в наших с Марком симпатиях к Сокурснику. Выяснилось скрытое – что его старый оппонент, диссидент, ставший американским профессором, своими отсылками на опубликованное, ничего нового не предъявил. Как и прежде, он видел в российской истории придуманное им «европейское столетие». Сокурсник же наш, симпатизирующий идее европейского пути, убедительно доказывал, что искать в прошлом европейские истоки России значит обманывать себя. Тем более что в 2010-х годах страна шла по второму кругу – цензура, плебейский Минкульт, сталинский лексикон, *быдловатая шариковщина*, квасной патриотизм.

– Большого смысла в продолжении полемики, – писал он в своем блоге, – не вижу, так как нет ее предмета. Но раз ста-

рый полемист того желает, значит, ему это зачем-то нужно и на его желание грех не отозваться. Мне тоже хотелось бы, чтобы в истории страны, в пору становления московской государственности, было «европейское столетие», которое он обнаружил, обозначив его начало великим княжением Ивана III, а завершение – доопричным царствованием Ивана Грозного. Если так, то в своих истоках Россия – страна европейская. Но если не так, то это очередной обман себя и других.

Ответ Полемиста, автора трехтомника по истории России, отличался назидательным тоном и слогом пропагандистов ленинской школы типа «дочери почаще показывайте то, что я пишу». В начавшейся было полемике он вырывал контекст, существо разговора подменял полемической страстью... Сокурсник напомнил, что первым обозначил Режим термином «*выборное самодержавие*». Полемист же попытался запутать дело наукообразной фразеологией касательно «преимущества ясности и функциональности», «доминант и констант». А вот как Сокурсник прикончил перепалку, делает ему честь:

– На мои аргументы и вопросы содержательной реакции не последовало, большинство из них не было даже замечено, а сама манера реагирования – за гранью элементарных представлений об этике дискуссии, что понуждает меня из нее выйти. На девяносто процентов моих вопросов Полемист не отвечал, ссылаясь на ответы в трилогии, где их нет, а пози-

цию мою излагал чаще всего некорректно.

Вхождение Сокурсника в клуб стало поводом для технической помощи. Объяснения Марку давала почитательница Сокурсника на фейсбуке:

– Если у вас есть клавиатура, то на ней скорее всего есть кнопка F5, ее нажатие обычно и приводит к обновлению странички. Технический глюк – это такой спонтанный сбой программно-аппаратного комплекса, в просторечии именуемого «компьютер».

– Пробуя освоить эту терминологию и простые действия, – признавался Марк, – я вдруг подумал, отчего такой милой кажется мне моя техническая беспомощность. Не столько из-за лени, сколько из-за того самого советского родового признака интеллектуала, мол, мы интеллигенты, не от мира сего и потому гвоздя забить не можем.

– Очень интересная мысль. Но в советское время у интеллигента было не так уж много возможностей избежать забивания гвоздей. Во всяком случае в НИИ, где я тогда работала, «неотмирность» как-то не приветствовалась. Может, у гуманитариев было не так.

– Именно так. У гуманитариев, когда они несли на своих плечах высокую миссию совести нации, «неотмирность» была признаком принадлежности к ней. Это была другая порода чистых советских интеллигентов, отличная от прослойки технической интеллигенции, вызревавшей в недрах НИИ...

– Я в провинции таких даже не припомню. Они, наверно, ближе к столицам обитали. Мы же вращались в «технической» среде.

Так возникла побочная тема интеллектуального насилия. Где его границы? И можно ли терпимость считать альтернативой такого насилия? Марк, конечно, принялся *англиканизировать*.

– В Англии в диспуте «Дважды два – четыре?» никому в голову не придет клеймить позором, идеологизировать или политизировать этот вопрос. И отвечать будут не утвердительно, а как-то иначе. Ну, например, есть подозрение, что это так: «Дважды два – четыре», но я не уверен, надо подумать, похоже, есть другие мнения, и с ними надо считаться, даже если в конце концов мы согласимся, что это так...

Зацепила же вздорность того разговора на тему «Если завтра война». Прошло три четверти века, а в России ни в каких других рамках осмыслять прошлое не получается. Не дай бог война, и все тут! Не потому ли, что это род все того же интеллектуального насилия над реальностью? В Англии за три десятка лет я не увидел в повседневной жизни вот этой озабоченности. Никому в голову не приходит прошлое переносить в сегодняшнее сознание. С первых дней мира ветераны жили своей жизнью. Без ожидания помощи, почестей, признания заслуг, что воевали, без пьяных слез застольных воспоминаний по выходным и праздничным дням. Работали, строили, путешествовали, мечтали. И рассчитывали только на себя.

Нет-нет, есть в этой стране место и ежегодным поминовениям. Но они как-то не превращаются в интеллектуальное насилие над памятью, делающее ее больной. Тут просто-напросто не живут с памятью о войне. Внуки не знают о боевых подвигах дедов. Об этом дома никогда не говорят. Зачем? – недоумевают они.

– Никогда?

– Никогда.

Еще раз слово Сокурснику.

– Полемист толкует, – заметил он, – про «теорию политической модернизации». У меня действительно нет теории модернизации. Потому что из моей теории вытекает, что модернизации в обозримом будущем быть не может. И у моего оппонента ее нет. Из того, что он называет своей теорией, как раз проистекает, что таковой быть не может. Если история России – чередование европейскости и холопства, если это своего рода закон системы, то почему и благодаря чему это может измениться? Этот вопрос он даже не ставит, а без ответа на него говорить о теории модернизации может только теоретический жулик.

...Сокурсник после той дискуссии покинул «Сноб». Полемист же остался и изо всех сил пытался втянуть в дискуссию нас с Марком, настаивая на одиннадцати прорывах Руси в Европу. Мы высказали сомнение в эффективности инъекций цивилизованного мира, которые получала Россия. Иначе говоря, как несколько сот лет она была в рамках ордын-

ской ментальности смесью европейской абсолютной монархии и азиатского самодержавия, так и остается этой смесью. Вот последний диалог Марка с профессором, полемистом Сокурсника.

– О динамике и результатах многочисленных «порывов» и «прорывах» России в Европу в трилогии мною сказано много и ясно. Но чтобы не рыться в трех томах, сделайте милость, сходите вниз по ветке до моего компактного интервью. Там точно и кратко перечислены все эти результаты. И они не оставляют сомнения в том, какой гигантский путь прошла Россия за столетия по направлению к Европе и насколько она ближе к ней сегодня, чем даже, если хотите, в декабре 1916-го.

– Профессор послал тебя... в трилогию, – рассмеялся я.

– Послал в трилогию? Это так теперь называется?

– Да, именно так это теперь называется. Интересно, какой такой гигантский путь прошла Россия за столетия по направлению к Европе и насколько она ближе к ней сегодня, в 2018-м?

– Знаешь, я ответил бы словами древних стоиков: «Не важно, не добрался ли ты до Афин на сто верст или на двадцать шагов, все равно в Афинах ты не был».

– А я бы, Марк, ответил тебе словами Мариенгофа, коли речь об Афинах: «Существовал довольно интересный человек. Слегка эпатируя, он гуманно философствовал и в неподходящем месте – в Иудее. Среди фанатичных варваров. Если

бы то же самое он говорил в Афинах, никто бы и внимания не обратил. А варвары его распяли».

Марк, знаю точно, собирал для романа материал о Сокурснике. Но его место занял я, Макс Колтун, *поведавший* настоящую историю университетской жизни и подаривший ее автору «Романа Графомана». Марк принял дар, внося свои впечатления. Когда я стоял уже на лестничной площадке, Марк признался, что хотел поближе сойтись с Сокурсником. Но тот уклонился, после чего Марк постарался больше с ним не пересекаться.

Или он, буркнул я про себя. Память стерла многое. Но подсказки оказалось достаточно, чтобы снова метнуться в наш разговор с Сокурсником еще и о библейском Моисее.

– Это сказка, что Моисей водил евреев по Синайской пустыне сорок лет, чтобы превратить их из рабов в свободных людей. Он водил их по пустыне до тех пор, пока не превратил в солдат. Он построил их по принципу армии со своими сотниками, тысячниками, десятитысячниками, разбив на двенадцать колен, каждое из которых кочевало в определенных областях, и отдельно от них всех располагалась ставка Моисея. Это была орда с населением более миллиона человек, организованная как боевой строй. Бежавшие из Египта евреи не были воинами. За сорок лет у них появилось все: и военная организация, и оружие, и необходимая сложная военная техника для ведения боевых действий. Что-то они

стали производить сами, что-то покупали, что-то отнимали во время вооруженных набегов на соседей.

– А почему Моисей водил евреев по пустыне именно сорок лет, а не десять или, скажем, двадцать?

– Потому что научить профессионально владеть оружием и воспринимать войну как образ жизни можно, во-первых, только молодых людей, а во-вторых, людей с милитаристским сознанием. Те, кто помнил о жизни в Египте, для войны были малопригодны. Нужно было новое поколение евреев для того, чтобы Моисеева власть могла осуществлять строительство полноценного военизированного государства. Пример древнего Израиля интересен и тем, что показывает нерасторжимую связь милитаризации, клерикализации и бюрократизации. Моисей создал институт церкви. Во главе стоял он сам как патриарх, возглавлявший и бюрократическую систему, и военную, и клерикальную. Он сформировал орден священников-левитов, который орда должна была кормить, отдавая ему лучшую десятину от дохода и в натуре, и в деньгах. Это была каста судей, которые решали споры, опираясь на родовые законы Моисея (десять заповедей и многие другие).

– Выходит, основная цель Моисея заключалась в том, чтобы приучить соплеменников беспрекословно подчиняться приказам?

– Конечно, отсюда и частые военные парады. На них выстраивались полки и оркестры с огромными боевыми бара-

банами и трубами. Руководили оркестрами дирижеры, которые ритмично махали жезлами вслед главному дирижеру. Моисей объезжал боевые подразделения и приветствовал каждое. Главное действо – громкое хоровое чтение левитами законов Моисея. Парады служили ему мощным ритуальным средством промывания мозгов еврейской молодежи. Формирующееся еврейское государство было военно-репрессивным.

Разговор тот, помню, упирался в будущность России, вернее, ее обреченность. Но у меня в руках записи Марка, в которых я нашел совсем другое про Моисея. Среди историков бытует представление, писал он (думаю, с подачи сына), что милитаристское развитие молодого еврейского народа являлось самоцелью. Моисей выступает властолюбивым диктатором, успешно вновь поработившим еврейский народ. На самом деле характер Моисея, согласно Торе, совершенно другой. В книге Шмот гл. 3:11–15 говорится, что он вовсе не был уверен, что может вообще говорить, ни с фараоном, ни с народом Израиля. В традиции Моисей считается самым скромным человеком. И дело не в том, что он был не уверен в себе. Скромным он был потому, что как пророк и человек, говоривший с Богом напрямую, понимал и чувствовал величие и Бога, и Его замысла и соотносил собственные «размеры» с Богом.

Один из способов понять Творца – это рассматривать Его как апофеоз порядка и закона и также приближаться к Бо-

гу через порядок и закон. Потому так важен в иудаизме аспект закона, заповедей: что есть, а чего нет. Буквально каждый шаг правоверного еврея может быть расписан по секундам согласно закону Торы. Закон, то есть Талмуд, изучается в религиозных школах-ешивах. Так, на основе изучения и внедрения в свою жизнь закона человек становится подобным Богу. Мы – законники, потому что Бог – законник. Книга Берейшит (Бытие) 2:1 говорит: «завершены были небеса и земля, и все их воинство». Спрашивается – а что за воинство? Традиция говорит нам, что воинства, армии – это звезды и созвездия и их структуры и формы на небе. А что основное в армии? Закон и порядок. Простое наблюдение скажет нам: движение звезд и их расположение на небосводе – эталон порядка. Физика подтвердит – все это пронизано законом. Сказать, что я, агностик, согласен со взглядом на Израиль, который излагается ниже, не могу. Но я, по рождению не еврей, с облегчением окажусь в дураках, если поверю, что земля Израиля в этом смысле – не какой-то надел, обещанный в награду за ратные подвиги. Земля Израиля – это прямое продолжение народа Израиля, его составная часть. И в полной мере принадлежит ему только тогда, когда народ находится на высоком духовном уровне. Именно это и выстраивал Моисей на протяжении сорока лет в пустыне. И как только этот уровень упал, народ потерял право пользоваться этой землей. И был изгнан, а второй Храм разрушен.

Ратные подвиги народа, конечно, велики. Однако при-

нять, что военные достижения Израиля происходят по милости Творца, мне трудно. Мы с Марком помним, конечно, ребят с факультета, которые ездили переводчиками в 1960-е в Каир и на Синай. Уму не постичь, как Израиль выиграл войну за независимость. Вернувшиеся болтали о неумении арабов воевать. Мы посмеивались тогда над теми, кто утверждал: какой бы ни была военная мощь Израиля, он не сможет побороть противника, если народ надеется на танки больше, чем на Творца. Живучая версия, однако! И все же историки на чем-то основывали свои взгляды, утверждая, что главными противниками Моисея были главы родов. Часть из них он уничтожил, а власть оставшихся свел к нулю. Введя институт судей, он ликвидировал право глав родов разбирать споры. Введя институт военных командиров, он ликвидировал право глав родов набирать войско и им командовать. Будучи устрешенными репрессиями, они вынуждены были с этим примириться. Но репрессии в государстве Моисея были направлены не только против родовой элиты. Для него ничего не стоило отдать приказ уничтожить десятки тысяч соплеменников. На страхе нарушить закон Моисея и держалась вся эта военно-клерикальная казарменная политическая система. Марк заключил все эти рассуждения дельным замечанием, думаю, подсказанным ему сыном, который всерьез проштудировал все стадии формирования древнееврейского государства. Пропустить такой плагиат мне было трудно, и я добавил свой, намекнув на то, что, мол, читал и Талмуд, и

Тору. Хотя на самом деле туда не заглядывал, а где-то слямзил:

– Взгляд на божественное происхождение царской власти объединяет древнееврейское государство с русским. Когда Давид в мгновение ока стал царем, все говорили: «Только что он пас овец, и вот – царь». И он отвечал им: «Вы дивитесь на меня, но я удивлен больше вас». И Дух Бога ответил им: «От Господа пришло это».

Глава IV

Про реминисценции

Отец оставил огромную библиотеку. Сколько помню, читал он всегда. Несколько шкафов с книгами со Старолесной переехали на Брестскую улицу. Потом они попали к Коте Биржеву. Основная же часть библиотеки осталась у моей матери. Кое-что он перевез в Лондон. Книги перебирались с ним всякий раз, когда он переезжал на новую квартиру. Незадолго до смерти отправил мне вместе со шкафами большую часть того, с чем не расставался прежде, в Геттинген. Но немало и осталось в Лондоне. Все книги зачитаны. Он любил этот жанр – реминисценции, аллюзии, выписки. Вопрос заимствований занимал его чрезвычайно. Из карманов его вечно торчали бумажки, исписанные мелким почерком. Вычитанного, просмотренного, услышанного. Наверное, они помогали ему творить. Хотя он утверждал, что большие мешали, путали. Потому одну из глав романа посвятил реминисценциям.

Склонность сочинителя к реминисценциям я определяю как род паразитизма. Байки, мифы, мистерии, аллюзии, литературные заимствования, как *скрепы*, встраивались в «Роман Графомана». Марк считал, что таким образом учится у мастеров. С их помощью он перебирался из прошлого в настоящее и, наоборот, обращал время вспять. Копаясь в биографиях великих, он вытаскивал факты, из которых складывались образы. Достоевскому во время поездки в Лондон в 1862 году довелось пообщаться с Диккенсом. Во время беседы великий английский романист признался, что всех своих трогательных персонажей наделяет чертами, которыми сам хотел бы обладать, а злодеев пишет с себя реального: в нем странным образом уживаются два совершенно разных человека – один, живущий и чувствующий как должно жить и чувствовать, и другой, обуреваемый противоположными страстями. Достоевский якобы выслушал и спросил: «Что, только два?»

Выискивая у классиков связи выдуманного с реальностью, Марк неожиданно наталкивался на попытки прямого списывания с реальности, прямого плагиата. Катаев использовал устный рассказ друга, Яшки Блюмкина. Убийца посла Мирбаха поделился с Катаевым в начале 1920-х (понятно, под страшным секретом) историей приготовления убийства.

Катаев же накатал (прости господи за ненамеренную тавтологию) повесть «Убийство имперского посла». В петроградском издательстве ее уже готовили к печати. Блюмкин узнал, и Катаеву пришлось отдать рукопись. В 1929-м году ГПУ расстреляло своего агента Блюмкина, обвиненного в троцкизме. Но тогдашний глава этого ведомства Ягода так и не отдал Катаеву рукопись повести. Еще пример из тех же 1920-х годов, когда рождалась советская классика. В 1924-м был опубликован роман-пародия Валентина Катаева «Остров Эрендорф». Пародия не только на роман «Хулио Хуренито», но и на самого Эренбурга. В 1925-м году вышел сборник Катаева под названием «Бездельник Эдуард». Прототипами героев были его друзья Эдуард Багрицкий и Михаил Булгаков. Автор не пощадил никого, не убоился ничего. Обиды, охлаждения отношений, ссоры... все мишура. Графоманские амбиции перевешивали дружеские отношения...

Суждения, привычки, мораль, лексика, ухватки прежней жизни еще держали в эмиграции нас с Марком за фалды. Но со стороны покинутая страна уже представлялась пошлой. Телеведущая *Света из Иванова* потрясала публику *офигенной* грудью в белом лифчике и фразами типа *более лучше*. Разнузданность, публичные заголения, развязный стиль речи лидера напомнили сокрушения Бунина в «Окаянных днях» о *свинском заборе, которым делается чуть не вся Россия, чуть не вся русская жизнь, чуть не все русское слово*, о том, что сделалось с этим народом после победы рево-

люции 1917-го.

Диковинная мешанина языка пропаганды, деловой лексики, ученых терминов и просторечия давала нам повод презирать и высмеивать самих себя. Мы стыдили друг друга, что кто-то не слышал про Вишневого, пропустил Эрмана, не прочитал «Войну и мир», не знал стихотворения Пушкина, писал с ошибками... Вместе с тем мы вдруг обнаруживали, что на Западе к непрочитанному и ошибкам относятся терпимее. Всегда можно и прочитать, и в словаре посмотреть, как пишется слово. А вот дискутировать, сохранять лицо, владеть приемами иронии, не опускаться до ерничения, полемизировать, избегая гнева, не подменяя темы – на это внимание обращают. Правилами хорошего тона слегка манкируют: целовать руку следует не всегда и не всякой женщине; иногда надо оставлять за ней право платить за себя; не на всякий прием следует приходить в рубашке с галстуком. Тут иное отношение к традициям, милосердию, благотворительности, обязанности голосовать даже за аутсайдеров (мол, иначе в парламенте не будет оппозиции).

– В ресторане, – вспоминал Марк, – меня однажды осадила моя двадцатилетняя английская дочь: «Папа, ты еще щелчком пальцев позови официанта! Мы ведь только сели. Подожди. Официант подойдет. Здесь много клиентов. Не торопись. Посмотри меню. Выбери». А ведь права. Мы приходим в ресторан, чтобы есть, а не общаться. Мы не намерены ждать. У нас нет времени. Они что, лакеи, не видят, что

гость готов заказать? Вот что у нас в голове с давних пор. А какие спектакли я устраивал в путешествиях с сыном. Брал несколько ключей от номеров и выбирал – туда ли выходит окно, не шумно ли, так ли стоит кровать, есть ли на письменном столе настольная лампа. «В праздном мозгу дьявол отыскивает себе уголок», смеялся сын, терпеливо помогая мне в выборе номера.

Марк прав, наряду с провинциальностью и хронической бедностью *Той Страны* мы свято верили, что русская литература – шедевр мировой культуры. Подарил я как-то баронессе сборник стихов Тютчева с параллельным переводом на английский. Толстенный том. Давно привез из Москвы. Солидное издательство. Вручил книгу, а вслед послал ей по интернет-почте известнейшее тютчевское: «Я встретил вас – и всё былое». Вот, мол, какие романсы у нас! В исполнении Дмитрия Хворостовского и Ивана Козловского. А в ее семье русский романс приняли своеобразно: большое спасибо, но русские романсы вызвали у нашей собаки ужасную нервную дрожь – она явно не готова к их восприятию. Я же не уверена, что мой русский так хорош, чтобы переубедить собаку. То есть для англичан этот романс – вариант плача, страдания, слез и отчаяния, не более.

Мы на Западе частенько попадали впросак с нашим образом мыслей. Русский солдат, защищавший Ленинград, автор книг о Блокаде города, выступая в бундестаге, строго вопрошал: «А как это немецкие солдаты могли ждать девять-

сот дней, чтобы блокированный город, где оказались старики, женщины и дети, капитулировал?» Депутаты краснели от стыда за воевавших соотечественников. Гости провожали с трибуны овацией, стоя. Воин заслужил это. Но в том выступлении, взывая к совести, девяностолетний солдат ни словом не обмолвился о Сталине, позволившем умирать сотням тысяч, о вожде, который преступно не воспользовался шестидесятикилометровым берегом Ладоги, свободным от блокады, речными судами, готовыми не только эвакуировать голодных женщин и детей на восток, но и перевозить ежедневно тысячи тонн продовольствия. Почему-то солдат не объяснил депутатам, что Сталин считал себя ответственным за снабжение армии, а не гражданского населения.

Стало быть, в бундестаге русский солдат-писатель скоморошествовал. Ничего странного. Он из страны скоморохов. Скоморохи-цари, скоморохи-челядь, скоморохи-граждане, лидеры, солдаты, генералы, студенты... Лучшие актеры – непременно скоморохи. Все разыгрывают друг перед другом одну и ту же пьесу: патриотизм свят, верность Родине выше человеческой жизни.

Оказавшись в эмиграции, отечественное телевидение Марк игнорировал. Я же туда в 2010-х иногда забредал. И всякий раз напарывался на просмотры кино советских времен, на воспоминания о войне, на советскую мемуаристику в различных жанрах. Казалось, людям *Той Страны* интереснее вспоминать, чем жить. Они соскучились по персона-

жам советской литературной, музыкальной, кинематографической культуры. Аллергия на советское сменилась ностальгией. Нет, я не против воспоминаний. Но мне казалось, что пришло время не ностальгиям, а попыткам заново осознать прошлое.

Сочиняя «Роман Графомана», Марк подгонял себя – а вдруг не успеет. Как это жить с пониманием, что ты сам, отказавшись от химиотерапии, принимаешь решение, которое сокращает срок жизни. Спросил врачей – сколько осталось. Ответ – речь не идет о месяцах. Точно есть несколько лет. Но ощущение жизни острее с того момента. Вид из окна отеля в Фолкстоуне, вкус кофе из аппарата, подаренного сыном, чувство красоты тенниса, когда выходил размяться на корт... В жизни как будто ничего не поменялось. А когда садился за компьютер, ощущение обозримо близкого конца обостряло мысль. Рушились мифы, идолы, которыми обзаводился годами. Вдруг вылезли известные слова Галилея: «А все-таки она вертится», якобы сказанные им после отречения. Скорее всего, ему было не до диссидентских афоризмов после суда инквизиции. Никто ж этих слов не слышал. Зато красиво и возвышенно.

С затаенным удовольствием Марк изобличал затасканные изречения, подвергал сомнению устоявшиеся идеи, низвергал авторитеты. Сладострастно расправлялся с современниками. Не щадил и себя. Зачем, вопрошал он, пишу «Роман Графомана»? Ни сын, ни дочь не станут меня читать, могу сказать с определенностью. Обольщаться было бы глупостью. Смириться помогал опыт классика. В дневниках 1885

года Л. Толстой жаловался, что его работы, которые были его жизнью, мало интересовали жену, что она лишь из любопытства, как литературное произведение, прочитывала то, что писал он теперь. А дети, *те* даже и не проявляют интерес. *Вам кажется, что я сам по себе, а писанье мое само по себе. Писанье же мое есть весь я. В жизни я не мог выразить своих взглядов вполне, в жизни я делаю уступку необходимости сожития в семье; я живу и отрицаю в душе всю эту жизнь, и эту-то не мою жизнь вы считаете моей жизнью, а мою жизнь, выраженную в писании, вы считаете словами, не имеющими реальности.*

Примерять свою судьбу с судьбой Толстого – дерзость. Но какое-то мстительное чувство довлело над разумом – мол, *даже* Толстого в семье не читали. А когда принялся за духовные сочинения, заподозрили, что выжил из ума. В самом деле, кто из родни читал его «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?». Да никто. А писатель считал это важнее из всего написанного прежде. Марк принял к сведению признание Толстого, начавшего писать «Анну Каренину», что тот забросил дневник, который вел каждодневно. Все шло в роман. Марк последовал за классиком, но вскоре обнаружил, что его собственные записи путались и не помогали ему сочинять. Они множились, превращая сюжет в хаос. К примеру, героя зацепила проблема *миметизма*. С одной стороны, сын хотел подражать отцу, а с другой – хотел отвергнуть его, забыть. На самом деле (сын не знал этого)

Марк испытывал *тайное презрение* к себе. За бездарность.

Снова и снова пробовал переосмыслить вехи биографии Толстого – Севастополь, драма женитьбы, семейное счастье, разочарование, замысел эпопеи в 1856 году, перерыв, когда сочинялась «Анна Каренина», и возвращение к эпопее в конце 1870-х. Но как самому связать эмигрантскую биографию и свой жизненный опыт – годы, проведенные в *Той Стране*, женитьбу, рождение сына, дочери со страстью к сочинительству – это Марк представлял плохо. Знал одно – его теперешняя попытка осуществить замысел стала смыслом жизни. Составляя план «Романа Графомана», Марк держал в уме набоковское – «в искусстве цель и план – ничто: результат всё».

В сочиненной биографии Марк искал косвенные параллели с обстоятельствами жизни Бродского. Все, что издавал Поэт, получало в печати прекрасные отзывы. Ведущие издания помещали длинные рецензии. Ему отдавали должное за «пассажи, показывающие его искусное обращение с мелкими частностями». Иное дело Марк. Он полагал, что родился не там, где должен; учился не тому, чему хотел, женился не на той, которую искал. Лишь страсть сочинять, как и Бродский, почувствовал рано. Не изменял ей никогда. Начал репортером. Стал очеркистом. Перешел на документальную прозу. Книги его не стоило бы вспоминать, если бы они не становились придатком неизбывной славы героев, о которых повествовали. Хотя некоторые второстепенные его пер-

сонажи представляли собой беспощадную пародию на ныне здравствующих деятелей. Что выдавало в нем *зеленого* автора, не способного засекретить реальные лица и начать движение в сторону художественной прозы.

Взявшись за «Роман Графомана», Марк рисковал превратиться в хроникера, летописца. Потому попросил меня быть его если не редактором, то первым читателем. С правом вносить в текст замечания. Вылавливая и выковыривая ошибки, штампы, расхожие метафоры, я, в свою очередь, заявил, что он не должен щадить ни отца, ни мать, ни детей и даже правды. Писатель может видеть мир своими глазами, накладывать мазки на исторические события, как художник своими красками, не слушая никого. Разумеется, он не должен щадить и себя.

Марку поначалу хотелось попривлекательней изобразить автора «Романа Графомана». Но у него получался человек пустой, крикливый, до крайности возбуждающийся в сочинительстве по самому ничтожному поводу, по всякой удачной фразе, меткой метафоре, точному определению. Он принялся улучшать его лик. Я высмеял эту затею. Он прислушался, а дальше пошел своим путем. В творческих поисках нажимал на аллюзии и реминисценции, позволявшие заимствовать и не быть уличенным в плагиате. Оседлав классику, перепахивал «Темные аллеи» Бунина, «Первую любовь» Тургенева, «Даму с собачкой» Чехова, «Крейцерову сонату» Толстого. Зацепил зарубежных мастеров – Флобера, Зо-

ля, Набокова. С пристрастием прочесал Джойса. И когда в «Улиссе» на одной странице обнаружил десятки реминисценций, а в конце романа набрел на сотни примечаний и отсылок, решил, что нашел путь к успеху.

Марк постоянно оглядывался на меня, ощущая потребность в моей интеллектуальной щедрости. Напрасно. Я был автором, далеким от него. *Глубинного резонанса* и диалога между нами не произошло. Его больше интересовали нюансы, а меня – схемы. Скажем, я принимал замечание литературоведа Э. о *полярности русских: святое и звериное начало у них сильнее среднего – человеческого. И в религии так же: у православных в загробном мире есть рай и ад, а у католиков между раем и адом есть чистилище*. Марк был знаком с Э. и отвечал ему и мне, что православным незачем чистилище в загробном мире. У них в церкви в этом мире есть институт исповедальности – пришел, исповедался, покался и чист. Мало общего оказалось у нас с Марком и во взгляде на Чехова, которого он чуть ли не обожествлял. И для него был как ушат холодной воды, когда я привел слова С. Аверинцева⁷, искренне удивлявшегося, *как это из Чехова получилась икона интеллигентской порядочности*.

⁷ Аверинцев С. С. – философ, литературовед.

Реминисценции, допуская копирование и цитирование без ссылок и кавычек, представляли образ литературы в литературе, позволяли бессознательно вкладывать в текст не только то, что когда-то было познано и забыто, но и чего вообще не было. Но делать все это добро содержанием «Романа Графомана», по-моему, было опрометчиво. Марк намеренно пренебрег строгим сюжетом и принялся таскать читателя из эпохи в эпоху, от одного персонажа к другому, представляя всех одним абзацем. Такое могло сойти за высокую прозу с креном в сторону постмодерна, если не пускаться в обличения и сравнения. Марк же решил противопоставить российского *Телещеголя* легендарному американцу Ларри Кингу, потрясавшему непредсказуемостью на канале CNN, Джону Симпсону, военному корреспонденту Би-би-си, создававшему впечатление, будто он вел за собой войска на взятие Бейрута, Багдада, Кабула... *Телещеголь*, не вылезая из Москвы, вещал на Первом канале телевидения. Хорошими манерами и идеологией гурмана он *косил* под европейского денди – то ли британца Джорджа Браммела, то ли француза Барбе де Ореви́ли, – прогибался перед властью, мгновенно приспособляясь к менявшимся правителям-автократам. С Первого канала он время от времени прыгал на независимый канал «Дождь», на либералистское радио «Эхо Москвы». Пописы-

вал и в интернет-журнал «Сноб». Наконец, создал телеакадемию, открыл «Жеральдину» – французский ресторан на Арбате имени своей матери.

Марка эта личность, думаю, слегка завораживала. На мой же взгляд, образ *Телещеголя* имело смысл вводить в «Роман Графомана», лишь раскопав причину его популярности. Она таилась в политической необразованности и невзыскательности аудитории. Надуть такую публику не составляло труда. Дозированную критику власти он окутывал поверхностными комментариями, банальностями и трюизмами. Войнушки, террористические акты, выборные кампании, выставки, кинофестивали – все его суждения сводились ни к чему не обязывающему трепу. В толерантности *Телещеголя* сквозила легкая снисходительность. Приглашая в гости Художника, разжигал интерес публики к изображению гениталий, зазвав на разговор Историка, склонял к обсуждению скандальных сторон биографий. Если же удавалось заманить на программу Премьер-министра, элегантно холуйствовал, годил, напирая на толерантность. Участники его программ чувствовали себя комфортно, потому что знали наперед: ведущий будет играть по заранее обговоренным правилам. Все понимали друг друга с полуслова. Судьба *Телещеголя* утверждала давно известное: истинная трагедия вовсе не смерть, а жизнь человеческая. Такой персонаж мог быть успешным только в российском обществе, где бок о бок живут два отдельных, несколько не похожих народа, говорящих на одном языке,

но люто враждующих между собой. Есть *Мы*, и есть *Они*. У *Нас* свои герои: Чехов там, Мандельштам, Пастернак, Сахаров. У *Них* – свои: Иван Грозный, Сталин, Дзержинский...

Концепция *двух народов* не нова. Но на Западе границы *двух народов в одном* выглядят иначе. Преодолев монарший скептицизм англичан ко всему американскому, легко увидеть, скажем, что и те, и другие говорят на одном языке, но ментально друг от друга достаточно далеки. Английский же скептицизм распространяется на всех. Спросите приватно английского джентльмена, что для него французы? Коллаборационисты. Итальянцы? Это что-то очень несерьезное. Немцы? Пустое место. Не о чем говорить. Австрийцы? Ну, это результат неудачной попытки сделать из немца итальянца. Только не надо тут искать вражду. Юмор, специфический английский юмор, и больше ничего.

На литературных семинарах Марк педалировал тему *двух народов*, чтобы показать, к какому принадлежат его кумиры. Он включал в действие студенток, слушательниц, друзей, знакомых. Ему подыгрывали. У молодой женщины, увлекшейся спиритуализмом, допытывался, зачем после развода перечитывает «Даму с собачкой». Вдруг выяснилось, что автор – ее дальний родственник. Она силилась понять героиню, гулявшую в одиночестве по набережной. Охотно вошла в роль Анны Сергеевны. Занимались у нее в гостиной. Двигая пуфик, наклонилась так, что из декольте едва не выпрыгнули ее чудные маленькие груди конической формы. Входило

ли это в ее планы – показать грудь? Если да, тогда блудливое подсознание навеяно «Молодостью» Паоло Соррентино. Впрочем, нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Возможно, Марку не следовало обсуждать такое с молодой женщиной. А если уж обсуждал, глупо было оставаться слишком пристойным...

Персонажи «Романа Графомана» – прототипы, перемешанные с домыслами. Ни автор, ни герой теперь не разберут, где правда. Взять мою биографию. Мне, задуманному в романе как альтер-эго Марка, скрывать нечего. Фамилию Колтун я заимствовал у профессора-физика, утонувшего в Мертвом озере. Имя Макс тоже присвоил – так звали все того же Сокурсника, спокойного, обстоятельного парня, прочитавшего в студенческие годы «Капитал» Маркса. Сокурсник, уже работая в журнале, погорел на статье о Герцене, который выбирал между Родиной и Свободой. Статья вышла в день ссылки Солженицына и не могла не быть признана подрывной для Режима.

Марк отказался от идеи объяснить в «Романе Графомана», как я думаю, необъяснимое. Сокурсник и его единомышленники, оставшись в *Той Стране*, не хотели эмигрировать по своим причинам. Но я бы не доверял тем, кто утверждал, будто их внутренняя свобода не мешала им существовать с авторитарным Режимом. Выезжая за границу, они добровольно возвращались в золотую клетку, потому что Режим заманивал, прикармливал их. Стало быть,

речь не о мужестве, а об ущербности нашей элиты. С другой стороны, она, даже эмигрировав, оказалась не способной вжиться в мировую элиту, оставаясь на обочине культурных прорывов, технического прогресса, научных прозрений.

Вполне может статься, что нынешнему читателю знать и осмысливать детали покажется лишним. Не вина читающего, если он не воспринимает прочитанного. Это вина написавшего. Писать же роман-*быль* Марку и не следовало. А стоит или не стоит поддаваться на провокации автора – дело читателя. Нравственная эрозия в *Той Стране* коснулась литературы, театра, кино. Она разъедала души всех, кто жил в том обществе. Всех, а не только Поэта Бродского, Хулигана Лимонова, Пророка Солженицына, Синявского, прикормившего с Пушкиным и Гоголем. Не говоря уж о таких *заслуженных* диссидент-сочинителях, как Аксенов, Довлатов, Соколов, Алешковский. Всех их захлестывали обиды и претензии.

Временами я чувствовал фальшь в наших с Марком спорах. Чем искреннее он говорил о дефиците духовной близости, тем больше сомнений возникало в том, что он пытался доказать собеседнику. Не знаю, что больше меня раздражало в нем – *местечковость* или его тяга к влиятельным и богатым, прилипчивость, готовность угодить нужным людям, желание во что бы то ни стало сдружиться с талантливыми. Как сочинитель свою жизнь он опутывал многими тайнами. Но скрывал их так, что о них знали все – сокурсники, колле-

ги, любовницы, близкие люди. О сочинительстве, о литературе вообще он охотно говорил со всеми, всегда и везде.

Помню Марка за его письменным столом в пригороде Лондона в день семидесятилетия. Я заехал к нему поздравить, но сразу сказал, что не вижу повода выражать ему сочувствие с его трусливыми байками в романе о детских годах. Мол, незачем такое вспоминать.

– Я тебе совершенно безразличен, – заверещал он в ответ, – потому что ты не еврей. Я никогда не придавал много значения твоим умозаключениям по поводу моих романов оттого, что тебе на все начхать.

Он был прав. Мне на все начхать, кроме способности сочинителя к самостоятельному мышлению. Это очень трудно – мыслить вне зависимости от авторитетов, от веяний времени, читательских вкусов. Сочинителю, к примеру, надо исходить из того, что кровавому диктатору не под силу было бы создать жестокий режим без простых людей, лишенных навыков к самостоятельному мышлению. Подождав, пока Марк выдохнется в своем возмущении, я перевел разговор на современных российских писателей. Ни одного имени за последние два десятилетия. Никого я не могу похвалить. Никого близко не сравнить (я знал, кто его кумир) с Пастернаком. Умно, но изложено бездарно; благонаравно, но написано скучно и глупо; наконец, нравственно, умно, но без всякого следа художественного осмысления. И все, все молодые авторы с первой строки опутывают себя всякими

как бы, то есть условностями. Чтобы, не дай бог, читатель не заподозрил его в национализме, патриотизме, гомосексуализме, жидо-масонстве, приверженности к психоанализу... В рассуждениях никакой уверенности. Одна осторожность. Ни намек на мужество, свободу, без чего невозможно творчество. Марк поначалу соглашался, попавшись на удочку, но затем принялся за свое:

– У французов есть своя культура, у англичан, у немцев и философия, и литература. У русских отсутствует именно культура. Потому их бросает то в Азию, то в Европу...

– Ну, ты напрасно отказываешь нам, русским...

– Ты жидовская морда, – хохотнул он, – только не знаешь об этом. Русский этнос социально менее конкурентоспособен, чем евреи. Но не привлекать же к этому суждению генетику. Виноваты особенности истории народов. Чернокожих рабов потребляли на плантациях, евреев вытесняли – они «торгаши».

– А что с русскими не так? – задрался я. – Земли на двух континентах в Восточной Европе и части Азии. – Ощувив себя смехотворно великим, пробую развернуть картину поведения людей расы, переживших столетия регулярных набегов степняков, крепостное рабство, массовый опыт выживания в лагерях, советской армии, колхозах.

– Ничего не обнажает твоя теория, – возразил Марк. – Евреям, чтобы выжить, надо крутиться, а русским достаточно прижаться к земле и переждать плохие времена. Провали-

вай!

В самом начале эмиграции мы с Марком повадились ходить в библиотеку Славянского факультета Лондонского университета на Russell Square. Там на полках стояло всё. Легендарный «Ардис» выпустил на русском языке более двухсот книг запрещенных авторов. Книги издательства нелегально пробивались через *железный занавес*. Обладание запрещенной литературой в *Той Стране* грозило сроком по статье «за распространение». Наверстывая упущенное, просматривая изданное «Ардисом», складывалось представление, что постсоветская литература – первая в мире по количеству произведений на лагерную тему.

Русские эмигрантские издания зарубежья – газеты и журналы – тоже были в открытом доступе. Периодику оккупировали авторы, пенявшие друг другу за неблагодарность. С бухгалтерской дотошностью они подсчитывали, кто кому помог, устроил на работу, добыл визу, послал вызов, приютил. Злоба, обиды, ревность, зависть, *бряцание* именами, знакомствами, связями вытесняли суждения о достоинствах прозы, поэзии, музыкальных произведений, исполнительского мастерства... Стихи хороши только потому, что написаны в ГУЛАГе. Бросил играть на пианино, потому что не мог слушать себя. Повесть «Один день...» описывала то, что автор видел, а писательский талант тут в зачатке. Поэт граждан-

ской лирики уличал Поэта-Тунейдца в подлости. Да, поэтическая палитра одного побогаче другого. Но суть конфликта – не подлость одного и благородство другого, а амбиции претендующих на поэтический Олимп. Оба талантливы, но не велики, вот в чем драма и того, и другого.

В журналах еще мелькали знакомые фамилии – ваятельницы, филологини, графини... Но спустя несколько лет *Та Страна* стремительно расправлялась со своими духовными ценностями. Сердцевина Салона – интеллигенция, состоявшая из сотрудников НИИ, научных работников, учителей, врачей, инженеров, библиотекарей, сбилась, потом исчезла вовсе. С ней сгинул и читатель. На месте его возник массовый сочинитель. Он готов был писать о чем угодно, *лишь бы на заработанное пером купить жене шелковые чулки, сыну – шотландское виски и себе – куропатку на ужин*. Мало кто из молодых людей хочет читать. Все хотят писать. Пишут на сайтах, в фейсбуках, лезут в Интернет с постами, комментариями. Ну, и понятное дело, издаются за свой счет.

Графоманский зуд укрощается рассуждениями об обыденности биографий гениев. Я упрекнул Марка в этом грехе, когда он вдруг принялся с восторгом пересказывать воззрения нашего приятеля-литературоведа о Пушкине. Оказывается, Пушкина мало кто любил. Это была очень несимпатичная фигура. Толстой вызывал раздражение не только у правительства, у царя, но и у передовой части общества – революционных демократов. Впрочем, у национального поэта

ситуация была хуже, чем у графа, из-за безденежья. «Театр уж полон, ложи блещут...» На самом деле денег на кресла у Пушкина не было. Он ошивался в стоячем партере, а в антрактах бегал к креслам, вился там возле сильных мира сего, как последний щелкопер. Его высмеивал свет (за то, что гений, и еще с амбицией), третировала жена (за то, что был нелепый прилипала и бабник), не доверяло правительство (неизвестно, чего было от этого Пушкина ждать), не принимали в свой круг друзья-декабристы (сегодня с нами, завтра – против нас, то напишет оду царю хвалебную, то ему же «самовластительный злодей»). Советская власть узурпировала мертвого Пушкина, сделала его национальным достоянием и многое из неудобного в архивах закрыла. В 1980-х над узурпацией Поэта куражились. В подвале библиотеки, находящейся у метро «Академическая», собиралась творческая интеллигенция. Концептуалист захватывал публику куражом: «Дантес маленький, то ли негр, то ли еврей, а Пушкин статный, красивый, выходит на крыльцо, а народ к нему: „Батюшка Пушкин, ну совсем заели японцы!“ А он: „Потерпите...“ Московские дамочки вздыхали по поводу автора этих баек: он снимает, ну, все, все табу...»

Марк упивался байками, расцветчивал их собственными, пока я не приглушил его энтузиазм упоминанием куда более пытливого исследователя, который возмущался подменной обсуждения текста по существу обсуждением его автора и причин, вызвавших появление текста. Марк упираться не

стал, залез в Интернет и вытащил из Википедии специально для меня вот это:

– *Ad hominem*, или *argumentum ad hominem* (с лат. «аргумент к человеку»), – логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, делающего аргумент или связанного с аргументом, вместо указания на суть самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения.

Байки Марка я придушил еще одним замечанием того же пытливого исследователя: мол, не умея проникнуть в интимную жизнь произведения, мы норовим проникнуть в интимную жизнь автора или заняться его идеями. Назидательно звучит и вполне тянет на эпиграф к твоему сочинению, лягнул я Марка. Прощупывая мифы, он видел, как старые рушились, новые рождались, чтобы их тут же подхватывала публика. Советских писателей никто не читал. Книги, картины, скульптуры той эпохи превращались в хлам. В нулевые годы нового века выжившие *шестидесятники* считали великой честью принадлежать к тому поколению. На самом деле *шестидесятники* – идеологи, наивные идеалисты, поверившие в социализм с человеческим лицом. Пришедшие за ними *восьмидесятники* – Масляков (КВН), Листьев и Любимов («Взгляд»), Парфенов («Намедни») – называли себя людьми действия. Сейчас не так трудно понять истоки заблуждений и *шестидесятников*, и *восьмидесятников*. Да и нас, *семидесятников*, находившихся между.

Убедить народ в необходимости Автократии – на это нужны десятилетия, а поменять мировоззрение, сделать людей свободно мыслящими – столетия. Мы с Марком 1987-й год связываем с запуском «Взгляда», где власть разрешила независимость суждений. По пятницам поздно вечером страна не спала. Ждала программу. Полтора часа разговора обо всем и ни о чем всерьез. У всех на слуху имена ведущих. Из эмиграции они казались нам инфантилами, вечными юношами, полупридушенными прагматами, сотрудничавшими с властью, чтобы выжить. На глазах у целой страны в программе «Экстрасенс» нашему приятелю, сокурснику Б. прокалывают руку длинной «цыганской» иглой. При этом он сам, как ни в чем не бывало, продолжает вести программу. Удивлены не только телезрители: мы, друзья, его коллеги, знаем, что Б. панически боится любых уколов, не переносит даже малейшей боли. Его дистанционно, взглядом, обезболил гость студии, врач-психотерапевт. Модными в обществе становятся шарлатаны, выдающие себя за телепатов. Состоятельная публика лечится у знахарей. Телекинез, призраки, загадки снов, порча и сглаз, знаки судьбы – тут ищут ответы на вызов Времени. Эзотерики объясняют то, что не могут политики, ученые.

В XXI веке поступки *шестидесятников* (выход в 1968-м на Красную площадь с коляской, с ребенком, протестуя против системы) кажутся экзистенциональными. Если люди шестидесятых испытывали по поводу тогдашней систе-

мы боль, люди восьмидесятых – презрение, то мы, *семидесятники*, оказавшиеся на рубеже оттепели и застоя – отказом *участвовать, бороться и вдохновляться*. Это не мешает нам теперь вытаскивать из памяти, из записных тетрадок, из архивов всякую рухлядь, составлять энциклопедии юности, отрочества, молодости.

– Рухлядь, – соглашается Марк, – но она же и память времени. Имеет право на существование.

– Меня смущает налет исключительности авторов этих энциклопедий. И им, и нам с тобой из того же поколения семидесятых к лицу, прежде всего, стыд за то, что подпирали происходившее сбоку, пассивно ждали перемен. Болтовню же на кухнях, в ресторанах, в застольях среди друзей выстав-
лять как знаки пассивного протеста, несогласия и чуть ли не героизма в этой серости, скуке, нищете, царстве духовной лени совсем неуместно.

Помнится, это был год столетия Великого Октября, и тот диалог вызвал в памяти строки А. Тарковского: *«Пока мы время тратим, споря/ На двух враждебных языках,/ По стеклам катятся впотьмах/ Колеса радуг в коридоре»*. Голос поэта прозвучал из 1960-го укором *Той Стране*. Из-за раскола нации Кремль отказался отмечать историческую дату. *Восьмидесятники* бравировали, что прежний Режим им тогда казался смешным. В 1990-х уже было не до смеха. В обществе царила тотальная ненависть друг к другу. Теперь они одобряли Автократа, потому что он, как им казалось,

победил хаос, неуправляемость, как-то подсобрал страну. В итоге жесткая система потеряла гибкость, эластичность, закрыла возможность прихода новых людей. *Восьмидесятники* оказались в ситуации нас, *семидесятников*: они ждут новое поколение, которое придет к власти и все изменит. Не с помощью революции, а с помощью легальных инструментов участия в общественной жизни. Дурная повторяемость, не более.

Если историки обращаются к опыту *шестидесятников* с кардинальным вопросом, в чем они ошибались, чего не понимали, то в «Романе Графомана» этот вопрос имеет другой смысл – кто об этом пишет, кто стоит за этим повествованием. И Марк, и я. Мы оба предоставляем выбор – либо прославлять, либо осуждать, либо пробовать понять – а могло ли быть иначе после десятилетий сталинского террора. В архивном хламе Марка отыскалась курсовая работа третьекурсника факультета журналистики МГУ. Что там обнаружилось? Ничего, кроме страха, желания выжить, жажды выделиться. Ни одной стоящей мысли. Из того же хлама выпало приглашение в клуб «Дружба». Первомайский райком комсомола проводил вечер, посвященный восьмидесятилетию Пабло Пикассо. Ведущими заявлены Искусствовед и автор «Хулио», считавшийся другом Пикассо. Марк, тогдашний студент первого курса, в крайнем смущении попросил у автора «Хулио» автограф. А спустя полвека читал беспомощные тексты Искусствоведа. О чуть было не рассыпанном

наборе книги, посвященной Пикассо, о преодолении запрета на простое упоминание имени Пикассо, об уловках убедить Режим, что запрет осложнит отношения с французской компартией, нанесет непоправимый вред Стране Советов за рубежом. Кстати, книга об абстракционисте-коммунисте в конце концов появилась на прилавках книжных магазинов.

Мы с Марком, захватившие начало ХХІ века, вдруг обнаружили, что оставшиеся в живых *шестидесятники* предъявляют для оплаты свои счета, а их тогдашние противники – свои. Глава идеологической контрразведки на Лубянке генерал Б., громивший диссидентов, вспоминал в своих мемуарах, что «хорошо работали, нормально работали, и с населением работали, никого не сажали, не высылали. Диссиденты сами уезжали в заграницы, сами просились в ссылки и тюрьмы». Между прочим, генерал писал о Западе, куда никогда не выезжал, потому что не хотел. Ничего нового. Бежавшие из Северной Кореи попадали в Южную и страдали от социального неравенства. Выросшим в рабстве некомфортно в свободном обществе. Им комфортнее в концлагере. В Сеуле избегали осуждать северных братьев. Они утверждали, что в СМИ все выглядит страшнее, чем в реальности. Каждый из нас, сочинителей, начинавших в *Той Стране*, выбирал свой путь: один смирялся с мыслью, что его «романы очень средние» и определял для себя стиль жизни, уровень притязаний, меру уступок Режиму, границу нравственных табу; другой верил в свое призвание и выше всего ставил свободу пи-

сать так, как думает.

Я знал историю отъезда Марка во всех неприглядных подробностях. *Та*, на которой он въезжал в эмиграцию, увидела в нем диссидента-сочинителя. Потому и *вывезла* в Англию. Верила в него. Помогла протащить через таможеню кое-какие его рукописи. Радовалась первой публикации в эмигрантском журнале. Когда же поняла, что *вывозила* заурядного беспомощного графомана, не способного даже выучить язык, сбросила роль мамки, няньки, секретарши. Все, что сдуру добровольно взвалила на себя.

Ничего удивительного, что Марку пришла в голову несо-размерная реминисценция. Леди Макбет, подбивая мужа совершить убийство, сошла с ума от содеянного. Актриса Шекспировского театра ⁸, по мнению английской прессы, лучшая Леди Макбет за последние полвека, предложила иную версию. Не подбивала мужа, нет. Просто услышала однажды, что Макбет хочет стать Королем и ради этого должен убить, без размышлений приняла его план. Верила, что живет с Героем: сказал-сделал. Иначе не говори. Когда же он стал метаться, пробовала поддержать. И повела его к действию. Повела к убийству, чтобы спасти свою любовь к му-

⁸ Актриса *Шекспировского театра* – Харриет Волтер (Harriett Walter), современная английская актриса, получила от Королевы звание Dame, автор книг об актерском опыте.

жу. Он убил, но опять не справился с собой. Тут она увидела Макбета слабым, запутавшимся в содеянном. Муж – кающийся убийца, а вовсе не Герой, решивший стать Королем. Вот чего она не вынесла. Тут с ужасом осознала – любовь уходит. И от горя сходит с ума.

Красивая версия – *не героя* любить нельзя. Позже Марк понял замысел актрисы. Она укоряла Шекспира за то, что в пьесах отводил женщине второстепенные роли. Сыграв в Шекспировском театре двенадцать женских ролей, она теперь провоцировала драматурга переписать его пьесы. На Ковент Гарден вышла с мужскими ролями Брута, Генриха Четвертого, Просперо. Написала книгу «Брутус и... другие героини». Получила от королевы звание Dame. Великая актриса! Ради сцены отказалась от детей. Мужчины, которых выбирала, тоже были актеры. Справиться с ревностью к ее таланту им было не просто. Замуж вышла в шестьдесят лет. Тоже за актера. Заставила эмигрировать из Америки. Выволокла с американской сцены. Протащила за собой по лондонской. Помогла выстроить карьеру...

Думаю, последняя жена Марка видела, как он не уверен в себе, как комплексует за рабочим столом. Она понимала, прощала слабость характера и защищала при первой возможности. Я знаю, что в реминисценциях и аллюзиях Марк искал подпорки. Ему хотелось соответствовать уровню классиков. Не понимаю, на кой черт он, уже перебравшись из журнализма в профессиональное литературоведение, пробо-

вал пролезть в писательство. Знания мешают сочинительству. Художественная проза не дается хорошим литературоведам, культурологам, искусствоведам, историкам искусства. Как заметил А⁹, *«ученые действительно иногда могут быть хорошими популяризаторами, но лишь тогда, когда они обращаются к темам вне их непосредственной исследовательской компетенции. На равных беседовать с невеждами может только тот, кто и сам отчасти невежда; а научный журналист по определению невежественен во всем, тем и хорош»*.

Марка я огорчать моими сомнениями не стал, когда он сообщил мне, что кинулся перечитывать тургеневский «Дым». А почему бы и нет, подумал я. Русские эмигранты, когда сходились в Баден-Бадене, толковали о том же, о чем и мы. Как и наши предшественники в XIX веке, мы в XXI толкуем о войне, о религии, о судьбах России.

– Во времена брежневизма, – вещал Марк, – мир в России был разный, как и во времена сталинизма. Меньшинство гнило в психушках или гибло на лесоповалах, а большинство притворялось и продолжало шагать в «прекрасный новый мир». Когда кошмар и гибельность путинизма будут разоблачены, как был разоблачен кошмар брежневизма, притворщики ужаснутся и отрекутся, как отрекся от брежневизма *Телещеголь* и тысячи таких, как он.

⁹ А. – А. Алексенко, научный редактор международного интернетного журнала «Сноб».

– Но ужаснемся не потому, – заметил я, – что узнаем что-то новое, а потому, что так можно будет снять с себя ответственность за прошлое. Простой конформизм – не более. Чтобы добиться смены моральной парадигмы, нужны десятилетия. Люди часто путают собственные моральные ценности с политическими. Предполагают, что этична только та позиция, которой придерживаются они сами, исходя из своей картины мира. А «картины мира» разные, и нравственный выбор может быть противоположным, причем будучи одинаково нравственным. Взять ту же русофобию.

– Насчет «русофобии» к месту вспомнить Куприна.

Марк вытащил томик с полки и открыл страницу с закладкой и стал читать: *«Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Бунинным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудками ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом. Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин*

ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, выющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому – словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами. „Вот дурачье так дурачье. Ведь такие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово – чухонцы“. А другой подхватил, давясь от смеха: „А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул. Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!“»

– Куприна напомнить нашим бывшим соотечественникам, конечно, не грех. Но, боюсь, он мало что поменяет в их сознании. Из газет я выудил информацию: в Якутске выставили в супермаркете стеллаж с бесплатными продуктами

для бедных. Публика же все смела в один день. Выставили снова – то же самое. К стеллажу подходили в шубах, обеспеченные люди и спокойно набивали сумки бесплатным! То, чего никогда не увидишь в Лондоне. Читать такое о России горько. Как-то странно, Марк, что ты пытаешься все свести к реминисценциям. Не находишь?

– Нет, не нахожу. Давай вернемся к заимствованиям, раз уж ты пробуешь меня уличить. Бунин не замечал, что буквально слизал у Чехова из «Дамы с собачкой» вот это: «Я люблю во Флоренции только треченто... А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь...»

– Нашел у кого слизывать, – усмехнулся Макс. – Твоему Чехову в приличном обществе в его время руки не подавали за антисемитизм. Да, молодому Чехову свойственен был этот предрассудок. Но Художник *словоблудит*. Я склонен согласиться со взглядом, что «Тина» – плохой рассказ. Типичная ошибка критиков – состояние словесного блуда они принимают за вдохновение. Изображением абсолютной страсти можно вызвать у читателя галлюцинацию, истерику, эрекцию. Но связано ли это с изобразительным мастерством? Французский филолог Рене Жирар, разбираясь с любовными отношениями Паоло и Франчески в «Божественной комедии» Данте, заметил: «Слово человека становится словом дьявола, если оно узурпирует в наших душах место, которое отведено Слову божественному». Возжелать можно не только из-за любви, но и из-за сладострастия, следуя ин-

стинкту, посредством чтения.

– Думаю, Чехов неоднозначно относился к евреям, – подумав, произнес Марк. – А почему надо относиться к ним однозначно? Они разные. Художника Исаака Левитана он любил, еще кого-то там из своего ближайшего окружения... Но, в конце концов, не Чехов кричит со сцены: «Жидовка!», а его герой в пьесе «Иванов»... Автор и герой – разные люди. А критики частенько если не отождествляют, то делают автора ответственным и за слова героя, и за тональность, за идею произведения... «Тину» Короленко осудил, а с ним и многие либералы в тогдашней России. А Бунин этот рассказ ценил очень высоко. Я бы как читатель поддержал Короленко в той России. Теперь же я скорее с Иваном Буниным. Рассказ-то превосходный...

– Чехов остается идолом и в Англии, – попробовал парировать я. – Иные полагают, что чрезмерная *зацелованность* Антона Павловича интеллигенцией есть признак нездоровья этой интеллигенции...

Об интеллигенции, впрочем, а точнее, об интеллигентщине, у меня было много чего возразить Марку. К примеру, мне гораздо ближе опыт не Чехова, а ирландца Флэнна О'Брайена. Он придумал неких «книжных мастеров», которые за небольшие деньги истрепляли книги до состояния видимой прочитанности. Жесткую трепку томам – эту услугу мастера предоставляли хозяевам прекрасных библиотек, которые приобретали книги, не читали их, но желали блистать

в салонах. Кстати, этот Флэнн начудил в жизни много. За алкоголизм его уволили со службы. Но в период ли запоев или между ними он написал первый роман «О водоплавающих» (1939), где использовал излюбленный метод – роман внутри романа: его герой – безымянный повествователь, молодой дублинский студент – пишет роман об эксцентричном писателе Дермоте Треллисе, попутно описывая в натуралистических подробностях студенческую жизнь; в свою очередь, Дермот Треллис тоже пишет роман, персонажи которого скоро начинают жить своей жизнью и устраивают суд над своим творцом. Этим пассажем я, конечно, зацепил Марка.

– Спасибо, Макс, за реминисценции с Треллисом. Полезно для «Романа Графомана». Кстати, напрасно ты пробуешь прижучить меня, будто я мщу своим женщинам. Нет, конечно, никакой мести тут нет. Я их всех продолжаю любить...

– А я полагаю, Марк, тебе надо бы задуматься, с чем твой герой реально входит в «Роман Графомана». В его попытках выбраться из мастеров в гроссмейстеры, то есть в писатели, надо явиться с каким-то своим личным откровением. Что-то сообщить о человеке человечеству. Например, Тургенев открыл, что люди (из людской) – тоже люди. Толстой объявил, что мужики – соль земли, что они делают историю, решают мир и войну, а правители – пена, они только играют в управление. Что же делать? Бунтовать, объявил Чернышевский. А Достоевский открыл, что бунтовать бесполезно. Человек сложен. Любовь отцветающей женщины открыл Бальзак, а

Ремарк – мужскую дружбу... Банально, если не пошло. Прямо как у Чехова. У меня вопрос к тебе, Марк: что ты хочешь сказать своим «Романом Графомана»?

– Брось, Макс, *игры* культурологов с пошлостью Чехова. Я ведь понимаю, к чему ты клонишь. Неконструктивно. Исследуй художественный текст Мастера. Последнее дело – механически переносить на автора свойства героев «Дамы с собачкой», «Мертвых душ», «Душечки». Недопустимое упрощение.

– Думаю, упрощаешь ты, друг мой. Не только Аверинцев поражался непорядочности твоего Чехова. Человек, который, ходя в женихах у еврейской невесты, пишет злейший антисемитский рассказ, где разделяет и так, и эдак такую-рассякую еврейскую сексуальность, печатает, изображает удивление, что невеста с ним порывает, – другому бы это так не сошло, согласись. Но читатель и зритель «Иванова» еще должен сочувствовать герою, когда тот кричит умирающей жене: «Жидовка!» Жалко же все равно не ее, а его.

Дав Марку время переварить мои возражения, я обратил его внимание на одно меткое замечание Аверинцева: «*Кто скажет сегодня про – все равно кого, хоть про Пригова, хоть про Сорокина, хоть про нас с вами: „Во дает!“*»? Аверницев предложил подумать о «хасидизме» Пастернака и «*миснагдимстве*»¹⁰ (непритии литваков) Мандельштама.

¹⁰ *Миснагдим* (противящийся) – использовавшийся хасидами термин относительно своих идейных противников литваков во время религиозной борьбы.

Описание отношений между мужчиной и женщиной – проблема для всякого художника. Граница между искусством и пошлостью почти невидимая. Каноны существуют для того, чтобы их отменять, сужать, расширять, пересматривать. И аллюзии здесь в высшей степени уместны. Взять принцип – *кто платит, тот ее и танцует*. В журналистике – да. В сексуальных отношениях все значительно сложнее... Или такое вовсе расхожее мнение, будто русская литература *поэтизирует* незавершенность отношений. Недосказанности в чеховских пьесах считались достоинством. Тургеневские герои говорят, что уходят, – и не уходят, чеховские – мучаются, что вынуждены скрываться и быть любовниками, толстовские – не могут развестись и бросаются под поезд. Но вот иностранному читателю ожидания разрешения конфликтов кажутся заданными и малоубедительными. Англичане, французы, немцы принимают незавершенность конфликтов и в жизни, и в искусстве не как трагедию или драму, а как жизненную норму. Никому в голову не приходит подправлять биографии.

Во времена цензуры для литературного успеха сочинителям довольно было простого намека на запретное. Чем пользовались и авторы-новомировцы, и писатели-деревенщики, и мастера городской прозы, военной прозы. Теперь уловки с

фигой в кармане Режиму кажутся абсурдом. Конечно, вступление в писательский клан чревато творческими мучениями, уязвленным самолюбием, осознанием творческого бессилия. Ерничали, мол, писатели – это Толстой, Достоевский, Чехов... а мы – *литераторы!* И что из того? А ничего. Когда-то написанное *в стол*, включая записные книжки, рукописные обрывки, планы, все, что удалось вывезти в эмиграцию, Марк пробовал пустить в дело. Неподъемная работа, если бы на смену пишущей машинке «Эрика» не пришел компьютер. И стало проще менять слова, подчищать, править.

Гугл, Интернет, электронная почта расширяли горизонты, помогали графоману самоутверждаться, делали его неуязвимым, самоуверенным, алчным и наглым. Выходило, что сочинительством может заниматься кто угодно. Те, кто игнорировал компьютер в литературном труде, с одной стороны, выглядели изгоями; но с другой – настоящими сочинителями.

Среди них бесстрашный Англичанин (трижды в одиночку на автомобиле пересек с запада на восток и с севера на юг Европейскую часть Советского Союза, затем поездом добрался до Средней Азии, до Биробиджана, Хабаровского края, из Китая по Шелковому пути выбирался в Таджикистан и оттуда через границу в воюющий Афганистан), он сочинял в абсолютном затворничестве. Уникальный романист писал коротко и емко. Снимал у приятеля загородный коттедж, где

не было ни радио, ни телевидения. Затворничество прерывали короткие поездки, связанные с придуманными персонажам биографиями. В поездках один герой обретал черты его жизненного пути в Богом забытой колонии на краю Африки; другой, с саркомой мозга, обрастал деталями в операционной нейрохирурга в Кардифе; третий, любитель-энтомолог, позвал с группой пенсионеров в Бретань наблюдать за бабочками. Эпизоды уместались у него в одну страничку. Но какую! Работал медленно, писал от руки. Ужасным почерком, который с трудом разбирал сам. Зато каждое слово выверено, всякая фраза отточена, все образы – живые.

Марк был уже тяжело болен, когда вцепился в реминисценцию, вытащенную им бог знает откуда, – *смерть это действенный метод попросить минуточку внимания*. Но вот просьба обреченного исполнена. Тут все и начинается. Или тебя увидели как Поэта, как Художника, и ты остаешься. Или исчезаешь во времени, растворяешься со всем своим добром, которое оставил в рукописях, книгах, публикациях. Тяжелейший момент для Творца. Жалость к остающимся жить сменилась завистью сочинителя. Марк иронизировал над графоманскими текстами, которые отдавали парфюмерией, медицинскими препаратами, винно-водочными изделиями. Кому-то от чтения Икс становилось *вкусно*, кто-то утверждал, что проза Игрек пахнет тонко, как духи. От стихов Зэд пьянели, падали в обморок. Изощренный читатель верил, что литература должна отстояться, настояться, как ле-

чебный отвар, как спиртное, что все оценки ставит Время.

Забавны попытки записать в графоманы Толстого: мол, сам Бунин, бравирюя, предлагал переписать «Анну Каренину», сократить, выправить стиль, убрать ненужные длинноты и излишние рассуждения. И язык у Толстого безобразный, и чем больше он увлечен, тем косноязычней пишет. Экзотические замечания такого рода приводят в восторг незрелые умы. Большой художник выше всякой неудачной фразы. Но возбуждали воображение все-таки в первую очередь факты реминисценций и заимствований в творчестве классиков.

Первый роман «Бедные люди» Достоевский сочинял в двадцать четыре года. Его еще никто не знал. Писал роман без малого полтора года. Неоднократно переделывал, долго и мнительно правил, никому не показывал. Оказалось, полемизировал с гоголевской «Шинелью». Главный герой Макар Дежушкин ругается на прочитанную по рекомендации Вареньки повесть «Шинель». Один проницательный исследователь заметил, что «Бедные люди» – закамуфлированная антитеза «Шинели». Гоголь пробует протащить идею в своей «Шинели», что все люди равны. Достоевский же Акакия Акакиевича называет Макаром Дежушкиным и все переворачивает с ног на голову. Гоголь утверждает, что люди *благородны*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.